П. П. ЕРШОВ

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

П. П. ЕРШОВ

КОНЕК-ГОРБУНОК
СТИХОТВОРЕНИЯ

Вступительная статья И. П. Лупановой
Составление, подготовка текста
и примечания Д. М. Климовой

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1976

Р 1
Е 80

Петр Павлович Ершов (1815—1869) — автор стихотворной сказки «Конек-горбунок», тепло встреченной А. С. Пушкиным и В. А. Жуковским и занявшей одно из первых мест среди сочинений этого жанра.

Как «Конек-горбунок», так и многие поздние произведения П. П. Ершова (драматические опыты, поэмы, лирические стихотворения) написаны в традициях русского народно-поэтического творчества.

Настоящая книга — наиболее полное из всех существующих изданий произведений П. П. Ершова. Некоторые из них даются по рукописям и прижизненным публикациям, малодоступным для широкого читателя.

$Е\frac{70401-41}{083(02)-76}$ 367—76



П. П. ЕРШОВ

На старинном тобольском кладбище, неподалеку от могил ссыльных декабристов, высится мраморный памятник с надписью: «Петр Павлович Ершов, автор народной сказки «Конек-горбунок».

Автор *народной* сказки. Не многим писателям выпадает честь такого признания. Не многие литературные произведения этого жанра заслужили такую оценку. А она очень точна. Сказка Ершова народна и потому, что ее корни — в русском фольклоре, выразившем, по словам В. И. Ленина, «чаяния и ожидания народные»; [1] и потому, что многомиллионная крестьянская Русь сделала ее своей собственностью, заставив жить специфической жизнью народно-поэтических творений, которые передаются от века до века из уст в уста, вбирая в себя мысли и чувства сменяющих друг друга поколений; потому что знала ее вся читающая Россия; потому, наконец, что, войдя в детство русского человека, она стала непременной частью его бытия, его добрым другом и наставником.

И вместе с тем веет от надгробной надписи грустью: «Автор сказки». Одной. Человек одной книги. «Homo unius libri». Не так уж мало знает их мировая литература — авторов, целиком вложивших себя в одно лишь произведение. Именно так воспринимается и Ершов. Ведь кроме «Конька-горбунка» написано так мало, а то, что написано, не идет в сравнение со сказкой.

Но мировая литература не знает, кажется, случая, чтобы единственное произведение, принесшее славу своему создателю, было написано в... 19 лет. Как правило, все они рождались как итог продолжительных литературных поисков. Писатель, чья творческая био-

---

[1] В. Д. Бонч-Бруевич, Воспоминания о Ленине, изд. 2, доп., М., 1969, с. 418.

графия началась такой блестящей удачей, не должен был остаться в памяти потомства «человеком одной книги». И все-таки остался им. Почему?

Этим вопросом задавались все исследователи Ершова, начиная с первого его биографа — университетского товарища А. Ярославцева.[1] Дореволюционной науке было трудно на него ответить уже потому, что написанное Ершовым было известно далеко не в полном объеме, а сам он воспринимался как бы в двух не связанных между собой ипостасях: петербургский поэт, автор «Конька-горбунка» (1834—1836), и благонамеренный чиновник сибирского захолустья (1837—1869).

Работы советских ученых, особенно М. К. Азадовского, В. Г. Уткова и Б Я Бухштаба, открыли путь к более верному постижению личности Ершова. Им принадлежит заслуга извлечения из небытия многих произведений поэта, дающих возможность внести значительные поправки в представления доoктябрьского литературоведения. Облик Ершова перестал двоиться: прогрессивный поэт начала 30-х годов XIX века во второй половине его жизни предстал не рядовым провинциальным учителем словесности, но Гражданином Тобольска, передовым воспитателем молодежи, другом ссыльных декабристов.[2]

Следует сказать, однако, что в основном исследования идут по пути накопления фактов, помогающих прояснить именно гражданское лицо Ершова. Творческий его облик остается не совсем ясным до сих пор, несмотря на многие и многие открытия в его поэтическом архиве. Существующие работы вводят Ершова не столько в историю литературы, сколько в историю краеведения и педагогической мысли. Литературные его опыты остаются, по существу, до сих пор без необходимого анализа. Но ведь как бы ни были они слабы по сравнению с «Коньком-горбунком», только они могут дать ключ к разгадке «загадочного Ершова» (Ярославцев, с. 15). Ибо никакие самым скрупулезным образом изученные детали биографии писателя не способны раскрыть того, что раскрывают его произведения. Да и сам «Конек-горбунок», рассмотренный под углом зрения современного литературоведческого и особенно фольклористического знания, может еще

---

[1] «Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-горбунок». Биографические воспоминания университетского товарища его А. К. Ярославцева», СПб., 1872. В дальнейшем в тексте: Ярославцев, с указанием страницы.

[2] См.: В. Г. Утков, Гражданин Тобольска. О жизни и творчестве П. П. Ершова, автора сказки «Конек-горбунок», Свердловск, 1972.

открыть какие-то непознанные стороны творческой индивидуальности своего создателя.

Попробуем же, опираясь на материал наших сегодняшних сведений о Ершове, еще раз перелистать страницы его жизни.

1

22 февраля 1815 года, в занесенной снегами сибирской деревне Безруковой,[1] в семье частного комиссара Ершова родился сын. Судя по всему, ребенок готовился разделить судьбу троих своих предшественников: слабенькие, болезненные дети рождались у Павла Алексеевича и Ефимии Васильевны, умирали, не успев даже принять крещения. И этот, едва взглянув на свет, уже зашелся в припадке. И тогда отчаявшиеся родители вспомнили о старинном поверье: ребенка нужно «продать» нищему, чтобы тот, уходя, забрал с собой его «хворь». Искать «покупателя» долго не пришлось: немало бродяг утаптывало снега сибирского тракта, на котором стояла Безрукова. За медный грош «унес» один из них болезнь новорожденного.

Так воистину сказочно началась биография будущего автора «Конька-горбунка» [2]

Благословив Петра Ершова на жизнь, сказка зашагала рядом с крестником по сибирской земле. Отец довольно часто менял места службы. До поступления в училище Петр и его старший брат Николай успели пожить в Петропавловске, Омске, Березове. Впечатлений тут хватило бы на десятерых. Переезды с длинными вечерами на постоялых дворах, где собиралось столько бывалого люда и звучало столько необыкновенных историй; веселая толкотня петропавловских и омских ярмарок; русская старина Березова, хранившего знамена героической дружины Ермака и чугунные пушки Пугачева... Сказка и явь переплетались в детском сознании в одно неделимое целое.

В 1824 году взору маленького Ершова предстали глядящиеся в Иртыш белокаменные стены тобольского кремля: родители отправили сыновей учиться в тогдашний административный и военный центр Западной Сибири.

Годы, проведенные Петром Ершовым в Тобольске, справедливо считаются временем формирования его творческого облика. Важную роль сыграли здесь отношения юноши с кругом передовой тобольской интеллигенции, с тобольскими литераторами, занятыми «сибирской

---

[1] Ишимский уезд Тобольской губернии.

[2] Покупка ребенка за грош встречается (в несколько другой связи) в сказках. См., напр.: Д. Зеленин, Великорусские сказки Пермской губ., Пгр., 1914, № 4.

темой»; неоспоримо благотворное влияние удивительно благоприятной по тем временам обстановки в местной гимназии, руководимой отцом гениального русского химика И. П. Менделеевым, человеком передовых взглядов и высокой культуры, всячески поощрявшим творческие наклонности своих питомцев.

Однако не менее важным в формировании будущего поэта было и другое. Параллельно гимназическому, Петр Ершов получал специфическое «образование» в людской купеческого дома Пиленковых (родственников матери), где «долгие» сибирские сказки перемежались «протяжными» песнями и забавными, а иной раз и беспощадно злыми народными анекдотами; в празднично-яркой карнавальной стихии знаменитых тобольских ярмарок...

Здесь складывался не только «запас поэтических материалов», —[1] здесь рождалось особое видение мира, своеобычное мировосприятие сказочника.

В 1830 году П. Г. Ершов, стремясь обеспечить сыновьям возможность дальнейшего образования (оба уже закончили гимназию), добился перевода в Петербург. Петр Ершов становится студентом философско-юридического факультета Петербургского университета.

Ярославцев вспоминает, что на первых порах своей студенческой жизни Ершов держался особняком, особенно чуждаясь сыновей «некоторых высших сановников, некоторых богатых людей», возле которых «вились... заискивавшие их знакомства» (Ярославцев, с. 12). Не жаловал он и профессоров, к которым можно было отнести известную характеристику из дневника А. В. Никитенко, преподававшего русскую словесность в Петербургском университете: «офицеры, которые сурово управляются с истиной и заставляют ее вертеться во все стороны перед своими слушателями».[2] По свидетельству Ярославцева, Ершов «оставался только на минуты переклички студентов... и затем тотчас же уходил домой к своему любимому чтению русских писателей ..» (с. 12).

Внимательным глазам «загадочный Ершов» виделся «сибирской девственной натурой, хранящей в себе какие-то драгоценности» (Ярославцев, с. 11).

«Драгоценности» засверкали внезапно. В один из весенних дней 1834 года профессор русской словесности и близкий друг Пушкина и Жуковского П. А. Плетнев, поднявшись на университетскую кафедру, начал вместо лекции читать студентам стихотворную сказку.

---

[1] М. К. Азадовский, П. П. Ершов. — В кн.: П. П. Ершов, Конек-горбунок. Стихотворения, «Библиотека поэта» (Малая серия), Л., 1961, с. 7. В дальнейшем: Азадовский, «Б-ка поэта», 1961.

[2] А. В. Никитенко, Дневник в трех томах, т. 1, 1955, с. 129.

А закончив чтение, раскрыл изумленной аудитории имя автора — тут же сидевшего Петра Ершова.

Вскоре после этого сказку узнала вся читающая Россия. Первая ее часть была опубликована в апрельском номере «Библиотеки для чтения»; в июне того же года «Конек-горбунок» вышел отдельным изданием.

Успех был колоссален. Это тем более знаменательно, что книжка появилась в то время, когда фольклорно-сказочная поэзия вдохновляла творчество многих русских литераторов. С 1831 по 1834 год создается знаменитый сказочный цикл Пушкина; пишут сказки О. М. Сомов, В. И Даль, Н. А. Полевой, В. А. Жуковский, сказочный фольклор использует Гоголь при создании «Вечеров» (1832); целиком на материале народных сказок построен нашумевший роман А. Ф. Вельтмана «Кощей Бессмертный» (1833). В таком окружении новому произведению «в сказочном роде» нужно было обладать особыми достоинствами, чтобы быть всего лишь замеченным.

Пытаясь уяснить причину редкостного успеха «Конька-горбунка», М. К. Азадовский видел ее в том, что поэт, использовав в качестве образца сказки Пушкина, оказался «из всех подражателей Пушкина в этом роде творчества... несомненно ближе всех к нему».[1] Думается, однако, что вряд ли подражание (какой бы то ни было степени талантливости) могло вызвать такой резонанс. Надо полагать, что и сам Пушкин вряд ли бы счел возможным столь лестно отозваться о произведении простого «подражателя», — а ведь из воспоминаний известно, что, ознакомившись с «Коньком-горбунком», он сказал: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить» (Ярославцев, с. 3). Наконец, Ершов вряд ли мог даже неосознанно подражать Пушкину, поскольку до «Конька-горбунка» в печати из всех сказок великого поэта появилась лишь одна — «О царе Салтане...».

В работах В. Уткова главной причиной необычно сильного впечатления, производимого «Коньком-горбунком» на слушателей и читателей, названа его «реалистичность». «...На аудиторию... повеяло незнакомым... миром крестьянской жизни, и «...если бы не волшебная Жар-птица в одном из эпизодов сказки, ее *вряд ли можно было назвать сказкой, да и язык ее не походил на сказочный*...» (курсив мой. — *И. Л.*).[2]

---

[1] Азадовский, «Б-ка поэта», 1961, с. 19.

[2] В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 40. Вслед за Утковым говорят о «реалистичности» «Конька-горбунка» Л. Грушкин («История русской литературы», т. 6, М.—Л., 1953, глава IX — Ершов), А. Богданова («Поэт пушкинской плеяды» — «Учен. зап. Новосибирского пед. ин-та», 1970, вып. 59).

Думается, что «Конек-горбунок» брал за живое не потому, что не походил на сказку, а потому, что походил на *такую* сказку, с какой русской публике и в самом деле еще не приходилось встречаться. Дело тут было не в «незнакомом мире крестьянской жизни». Этот мир к тому времени был достаточно знаком образованным людям: он являлся в прозе М. Погодина и Н. Полевого, в стихах Кольцова и Гребенки, открывался в какой-то мере и в собственно сказочном жанре (В. Даль, Н. Полевой). Дело было в другом.

Обращение к народной сказке в первой половине XIX века теснейшим образом связано с обострением споров о народности как основном элементе национального искусства. Политический характер этих споров хорошо раскрыт М. К. Азадовским· «За литературными «оценками» и «формулировками» вставал вопрос об общественной гегемонии, о праве определенных социальных групп говорить от имени нации». [1]

Если совсем недавно сказочный фольклор использовался лишь в целях «оживления» литературы, обогащения ее свежими темами и образами, [2] то теперь он приобретает значение в первую очередь сам по себе, как художественное создание народа, обладающее самостоятельной эстетической ценностью. Именно в этом ракурсе привлекает он Пушкина, который «украсил народную песню и сказку... блеском своего таланта, *но оставил неизмененными их смысл и силу*» (курсив мой. — *И. Л.*). [3] Сказка Пушкина говорила от имени самого народа и в этом своем качестве противостояла, с одной стороны, сказкам Жуковского, приглаживавшего и «облагораживавшего» фольклор, а с другой — «сказочной» продукции многочисленных ремесленников от литературы, вольно и невольно искажавших народный замысел, подменявших народные чаяния и ожидания идеалами уваровской «триады» («православие, самодержавие, народность»). [4]

«Конек-горбунок» — полностью в русле пушкинского понимания народности в целом и сказочного фольклора в частности. Но автор — не подражатель, а союзник «на равных». В атмосферу борьбы и споров молодой Ершов вошел не просто как русский литератор, посвоему понявший и интерпретировавший народную сказку, но как *русский сказочник*, для которого она была исконной частью бытия.

---

[1] М. К. Азадовский, Литература и фольклор. Очерки и этюды, Л., 1938, с. 143.

[2] См. об этом подробно в кн.: И. П. Лупанова, Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века, Петрозаводск, 1959, гл. 1, 2, 4.

[3] М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, М., 1953, с. 92.

[4] См. об этом подробно: И. П. Лупанова, указ. соч., гл. 5.

В этом, кстати, было и главное отличие его от Пушкина, открывшего для себя подлинную народную сказку сравнительно поздно, будучи уже прославленным поэтом России. Слушая сказки, Пушкин, по собственному его признанию, вознаграждал «недостатки проклятого своего воспитания».[1] Он подошел к сказочному фольклору как писатель, восхищенный его красотой и глубиной, и как исследователь, ученый, которому хотелось, чтобы русское образованное общество тоже открыло для себя народную сказку и вслед за ним сказало восхищенно: «Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!»[2]

Для Ершова сказочная поэзия была родной стихией. Она входила необходимым компонентом в его образование и воспитание. Она присутствовала в его жизни как ее особая волшебная грань. Думается, что восемнадцатилетний юноша, писавший «Конька-горбунка», не ставил перед собой задачи, которой в значительной степени руководствовался Пушкин: популяризировать народную сказку, облачив ее в литературную форму, дать ей права гражданства. Он просто поделился с «честным людом» одной из тех «драгоценностей», обладателем которых оказался сызмальства. Поделился, как делится со своими слушателями истово влюбленный в свое дело русский сказочник.

Это, однако, вовсе не означало, что Ершов, как инкриминировали ему некоторые рецензенты, «слово в слово» пересказал народную сказку. Сказку ведь вообще нельзя пересказать «слово в слово». Каждый новый рассказчик обязательно вносит в традиционный текст что-то свое, становясь соавтором других, безвестных ее создателей. Этот личный вклад тем значительнее, чем талантливее сказочник. Замечательным «соавтором» народных мастеров и явился перед изумленным читателем поэт-сибиряк Петр Ершов. Самым характерным в его творческой манере было именно то, что отличает наиболее одаренных сказочников. Свято соблюдая незыблемые законы жанра, принципы сказочной композиции, предусмотренные ею «правила игры», они необыкновенно чутко улавливают те потенции, которые затем на определенном этапе эволюции сказки превратятся в новую устойчивую традицию. Именно в пересказе выдающихся народных мастеров определенный сказочный мотив, сюжет, образ впервые приобретает те штрихи, которые позднее окажутся свойственными целому комплексу вариантов, взятому в синхронном срезе. И это явилось одной из причин того, что созданный в первой трети XIX столе-

---

[1] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 10. М.—Л., 1949, с. 108.
[2] Там же.

тия «Конек-горбунок» оказался современником многих последующих поколений.

Изучая степень народности ершовской сказки, характер ее взаимоотношений с фольклором, исследователи прежде всего обращались к проблеме источника. Этому вопросу посвящена довольно большая литература. Высказывалось мнение, что поэт отталкивался от конкретного сказочного сюжета (хотя определить его никто из сторонников этой точки зрения не смог),[1] что «Конек-горбунок» — «попурри»[2] из сказочных мотивов, наконец — что сюжет сказки собственно авторский, подсказанный жизненными впечатлениями Ершова.[3] Это последнее мнение выдвигается полемично, в противовес двум названным выше. Авторы его явно полагают, что в следовании за определенным фольклорным сюжетом или комбинировании фольклорно-сказочных мотивов есть нечто ущемляющее творческую самостоятельность Ершова. Такого рода опасения несерьезны по самой своей сути. История мировой литературы полна произведений, построенных на «традиционных» сюжетах и отнюдь не страдающих при этом недостатком оригинальности.

Что касается Ершова, то он, как и Пушкин, опирался на существующий в фольклорной традиции волшебно-сказочный сюжет, в котором были все мотивы, представленные затем в его «Коньке». В известном «Указателе сказочных сюжетов»[4] он значится под номером 531 и представлен двумя типами вариантов (двумя версиями, как говорят фольклористы). Разумеется, поскольку все фольклорные записи датируются временем более поздним, нежели ершовская сказка, может возникнуть подозрение, что мы имеем дело не с «источником», но с подражаниями Ершову. Таких, действительно, немало.

---

[1] Ярославцев, с. 3; А. М. Путинцев, Сказка П. П. Ершова «Конек-горбунок» и ее источники. — «Труды Воронежского гос. университета», т. 1, Воронеж, 1925; А. В. Гуревич, О сказках и сказочниках Восточной Сибири. — В сб.: «Русские сказки Восточной Сибири», Иркутск, 1939, с. XXXI.

[2] Н. Н. Трубицын, О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века, СПб., 1912, с. 468; М. К. Азадовский, Литература и фольклор, с. 121; З. Ерошкина, История сказки и ее автора. — «Штурм», 1934, № 6, с. 121.

[3] В. Утков, П. П. Ершов. — В кн.: П. П. Ершов, «Конек-горбунок». Стихотворения, «Библиотека поэта» (Малая серия), Л., 1951, с. 48. В дальнейшем: Утков, «Б-ка поэта», 1951; В. Г. Утков. Дороги «Конька-горбунка», М., 1970, с. 28; А. А. Богданов, Поэт пушкинской плеяды. — «Научные труды Новосибирского пед. ин-та», 1970, вып. 59.

[4] Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929. В дальнейшем: Указатель.

Однако анализ фольклорных параллелей выявляет значительное количество вариантов, полностью независимых от литературного текста.[1] Творческий подход Ершова к сказочному фольклору сказался не в изобретении какого-нибудь нового, необычного сюжета, но прежде всего в интерпретации мотивов и образов, подсказанной чутко уловленными потенциями сказочного повествования.

И в первую очередь в этой связи нужно говорить о центральном образе — Иванушке-дурачке.

Начнем с того, что фольклорная традиция не знает Ивана-дурака в качестве героя сказок типа 531.[2] В большинстве вариантов этого сюжета герой — богатырь, с самого начала пользующийся авторитетом у своих братьев и всех окружающих. Таким образом, Ершов вводит в сказку героя, чуждого русским фольклорным редакциям *данного* сюжета. Но этот новый герой — Иван-дурак — один из типичнейших персонажей русской сказочной поэзии. Ершов поступает здесь аналогично Пушкину, который ввел в «Сказку о царе Салтане» образ Царевны-лебеди, отсутствующий в фольклорной традиции сюжета (Указатель, 707).

Образ Ивана-дурака в русской волшебной сказке давно привлекал внимание исследователей. Однако верное понимание его пришло не сразу. Национально-сказочную его специфику первым вскрыл автор немецкого исследования, посвященного сказке, A. Löwis of Menar. Он отметил, что в отличие от «глупого Ганса» немецкого фольклора, который «действительно глуп», русский Иван-дурак лишь «притворяется глупым, надев маску дурака».[3]

В самом деле, «глупость» Ивана не есть качество, действительно ему свойственное, — она приписывается ему враждебными персонажами, воспринимающими таким образом отсутствие в герое обывательского «здравого смысла», помогающего урвать кусок получше, его исконную доброту, гуманность, неумение «устраиваться» в жизни, бескорыстие Все эти высокие нравственные качества представляются «дурацкими» «умным» персонажам, известным вероломством, жадностью, лживостью Сказка, как правило, не сразу раскрывает истинную сущность Ивана-дурака, как бы соглашаясь сначала с приданным ему эпитетом Он рисуется внешне некрасивым, неряшливым, неповоротливым, от него, кажется, нечего ждать. Но наступает

---

[1] Подробно об этом см.: И. П. Лупанова, указ. соч., раздел «Сказочник Ершов и его подражатели».

[2] Дураком герой назван в фольклорных пересказах Ершова или в подражаниях ему.

[3] A. Löwis of Menar, Der Held im deutschen und russischen Märchen, Jena, 1913, S. 133.

момент, когда необходимо проявить мужество, смекалку, находчивость, — и оказывается, что Иван-дурак куда смышленее и смелее презирающих его людей.

Е. Мелетинский, анализируя распространенный в мировом фольклоре образ «низкого» героя, замечает, что «наиболее совершенным в художественном отношении, глубоким и своеобразным типом демократического героя, «не подающего надежд», является излюбленный герой русской сказки Иванушка-дурачок».[1] Мелетинский считает, что это «исключительный в своем роде случай создания на почве сказки настоящего характера».[2]

Заметим, однако, что, интерпретируя этот образ, исследователь допускает, как нам кажется, одну существенную неточность: Иван-дурак назван «чудаком» и даже предшественником литературных «чудаков».[3]

Но главным содержанием типа «чудака» является его «детскость». Такой тип «взрослого ребенка» весьма специфичен, например, для английского фольклора. Что касается Ивана-дурака, то свойственное ему в некоторой степени детски-простодушное восприятие мира уравновешивается «лукавым русским умом, столь наклонным к иронии»,[4] о котором как о специфической черте русского мужика писал В. Г. Белинский.

Эта особенность до сих пор не обратила на себя должного внимания исследователей. А между тем, пожалуй, именно это качество героя способствует созданию в сказке характера. Гуманность Ивана-дурака далеко не абстрактна. Он добр по отношению к положительным персонажам сказки. Что касается его антагонистов, то они постоянно оказываются объектом его иронии или розыгрыша, иной раз далеко не безобидного. Более того, Иван-дурак — один из тех героев волшебной сказки, которые чаще других оказываются носителями социального протеста. Именно его сталкивает сказка с царем, царской дочерью, царскими зятьями.

В недавнее время Д. С. Лихачевым было высказано интересное предположение о существовании связи между русским юродством и интерпретацией «дурака» в русской сказке.

Опираясь на это предположение, А. М. Панченко в статье «Юродство как зрелище», обращаясь к фольклору, замечает: «Пара-

---

[1] Е. М. Мелетинский, Герой волшебной сказки. Происхождение образа, М., 1958, с. 222.
[2] Там же, с. 227.
[3] Там же, с. 224.
[4] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 5, М., 1954, с. 668.

доксальность, присущая юродивым, свойственна также персонажам сказок о дураках. «Юродивый» и «дурак» — это в сущности синонимы... Понятно поэтому, что сказки о дураках должны стать одним из важнейших источников для исследования юродства». В этой же работе А. М. Панченко справедливо отмечает, что в юродстве «есть черты общественного служения» и что «здесь мы находим и социальный протест».[2] В связи с вышеизложенным, это утверждение имеет принципиальное значение и для понимания образа «дурака» русской волшебной сказки.

Все перечисленные определения специфики образа Ивана-дурака, как видим, относятся к сравнительно недавнему времени. В 30-х же годах XIX столетия, когда создавалась ершовская сказка, природа этого образа была неясной.

Ершов понял ее удивительно верно. Заменив в своем сюжетном источнике героя-богатыря Иваном-дураком, Ершов оставил ему все положительные черты, предусмотренные сюжетом 531: чувство долга, смелость, ловкость и силу. Поэт нисколько не погрешил при этом против фольклорной традиции образа «дурака», как правило, маскирующей достоинства героя его дурачествами. До поры до времени Ершов молчит о силе и ловкости Ивана. Но в решительный момент именно эти качества помогают герою подчинить себе чудесную кобылицу. Опять-таки, даже в сцене ее поимки, непосредственно об Ивановой удали речи нет. Самый способ, с помощью которого он одолевает кобылицу, несколько забавен и вполне в стиле всех других внешне «дурацких» его поступков. Подкравшись к воровке, он «прыгнул к ней на хребет — Только задом наперед». Кобылица пытается сбросить седока, но «Иван и сам не прост — Крепко держится за хвост». Забавная форма не меняет существа дела: Иван победил силой, ловкостью, мужеством.

Наряду с чертами, роднящими его с героями фольклорного сюжета 531, Иван получил от своего создателя и те, которыми он награжден в фольклоре как своеобычный образ: доброту, гуманность, бескорыстие и «лукавый русский ум, столь наклонный к иронии». Выше уже говорилось, что именно последнее качество создает на сказочной почве характер. То, что Ершову удалось это уловить, — лишнее свидетельство его удивительного чутья сказочника.

В народной сказке лукавство, ироническая хитринка Ивана-дурака обычно находят выражение в том, что он умалчивает о происшед-

---

[1] А. М. Панченко, Юродство как зрелище. — «Труды Отдела древнерусской литературы», т. 29, Л., 1974, с. 151.
[2] Там же, с. 146.

ших важных событиях или маскирует их с помощью всевозможных выдумок. Заметим кстати· диахронное изучение сказок об Иване-дураке показывает, что в процессе эволюции сказочного сюжета «розыгрыши» антагонистов разрабатываются все более детально. И здесь Ершов как бы заглядывает в будущее фольклорного образа. Он делает своего Ивана гораздо большим выдумщиком, нежели «дураки» народных сказок, известных в его время. «Умные» братья каждый раз оказываются одураченными. Комизм ситуации усиливается тем, что братьям непонятен смысл происходящего — поэтому они и хохочут «ухватившись под бока, Над рассказом дурака».

В значительной степени предваряет грядущую эволюцию образа подчеркнутое автором ощущение героем своей социальной независимости. Уже при первой встрече героя с царем в ответ на предложение служить при царской конюшне Иван говорит:

Чудно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить,
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!

Здесь буквально каждая фраза звучит оскорбительно для царского достоинства, и вся эта тирада сходит Ивану с рук, очевидно, лишь потому, что он «ходит в дураках», а с дурака что возьмешь?

Точно так же ведет себя Иван по отношению к царю на всем протяжении сказки («Крякнул дважды и спросил: „А пошто меня будил?“»; «Чай, спросонков, я толкую, Штуку выкинул такую»; «Нет уж, дудки, ваша милость»; «Полно, царь, хитрить-мудрить» и проч. и проч). В поведении Ивана нет ни тени почтительности, ни тем более угодливости. Он может заплакать из-за царской несправедливости, но никогда не унизится перед царем. Чувство независимости по отношению к сильным мира сего в сказке Ершова оказывается очерченным гораздо резче, нежели в фольклорных вариантах сюжета, записанных в его время и позже — на протяжении всего XIX века. Лишь отдельные записи начала XX столетия дают сходную картину. Зато с записями советского времени «Конек-горбунок» в этом аспекте соотносится легко.

Сделавшись по существу главным, превалирующим в характере героя, чувство независимости возвышается до уровня социального бунтарства. Наряду с сатирической трактовкой образа царя (о чем

ниже) это дало остро социальный поворот сказочному конфликту.[1] Недаром цензурой был изъят в первом издании «Конька-горбунка» целый ряд строк из обращений Ивана к царю; недаром всякого рода «подражания» так тщательно причесывали ершовского Ивана под верного слугу, всячески подчеркивая его пиетет и смирение по отношению к царской власти.[2]

В остросатирическом плане разработан Ершовым образ антипода героя — жестокого и ограниченного правителя, типичного «плохого царя» народной сказочной традиции. В фольклорных вариантах он выглядит достаточно колоритно. Он жесток. Охотно прислушивается к наговорам и клевете на честных людей. Несправедлив. Сластолюбив. Все эти черты есть и у ершовского царя. Но все они получают большую сатирическую заостренность. Царь здесь угрожает герою не просто смертью, но *лютой* смертью: «На правеж — в решетку — на кол», «Прикажу тебя пытать, По кусочкам разрывать». Сластолюбие этого семидесятилетнего старца, которое в народных параллелях обычно лишь констатируется, у Ершова делается предметом злого осмеяния. Доверие к сплетникам и клеветникам осознается читателем как следствие внутреннего бессилия, ничтожности, с которыми контрастирует внешне грозное, приводящее придворных в трепет, поведение царя.

Ершовский царь имеет очень близкого родственника в пушкинских сказках — царя Дадона из «Сказки о золотом петушке...». Обоих роднит метод царствования «лежа на боку». Мы постоянно видим ершовского царя, как и пушкинского, зевающим, подающим реплики и отдающим приказания с кровати. Запоздалая страсть ершовского царя к прекрасной дочери Месяца очень напоминает страсть старого Дадона к Шамаханской царице. Оба царя скоры и щедры на обещания, но не на выполнение их (ср. у Ершова: «Я те щедро награжу И в бояры посажу», у Пушкина: «Волю первую твою я исполню, как свою»). Сходство этих царей-самодуров бросается в глаза, и кажется странным, что никто из исследователей, столь охотно сопоставлявших ершовскую сказку с пушкинскими, не обра-

---

[1] Этот смысл сказки был превосходно уловлен С. Басовым-Верхоянцевым, воспользовавшимся в 1906 году «Коньком-горбунком» для создания политической сатиры «Конек-скакунок», где Иван был сделан революционным борцом за народные права. В современной Ершову литературе демократический и сатирический дух его произведения оказал прямое влияние на сказку, написанную его близким другом К. Бахтуриным: «О Ниле-царевиче и об Ивашке — белой рубашке» (К. Бахтурин, Стихотворения, СПб., 1837).

[2] О «подражаниях» подробно см.: В. Г. Утков, Дороги «Конька-горбунка»; И. П. Лупанова, указ. соч.

тил на это внимания. Сходство это нельзя объяснить влиянием Пушкина на Ершова, поскольку «Конек-горбунок» по времени выхода в свет на год опередил «Сказку о золотом петушке...», напечатанную в апреле 1835 года (закончена в рукописи в сентябре 1834 г.).[1] Вероятнее всего, это родство созданных Ершовым и Пушкиным сатирических образов явилось естественным следствием общности их взглядов на идейно-художественную сущность народной сказки.

Важно заметить, что в фольклорных редакциях сказки, как правило, придворная среда не изображается, врагами героя, доносчиками являются или его братья, или простые конюхи, позавидовавшие удаче новичка. За исключением сказки № 170 сборника Афанасьева, все другие случаи, когда врагами героя оказываются представители «социальных верхов», зафиксированы лишь в сборниках конца XIX — начала XX века и советского времени. Ершов же дает обстоятельную характеристику продажным, раболепствующим перед царем и ненавидящим безродного Ивана придворным. Социальный конфликт сказки Ершова усиливается, таким образом, еще и тем, что Иван противопоставлен не только царю, но и всему его окружению. Этот конфликт разрешается торжеством героя-простолюдина, оформленным как воцарение его на престол вместо жестокого, бездарного монарха. Разумеется, никак нельзя вслед за В. Утковым сказать, что этот финал «революционен»,[2] однако несомненно вздорными были и суждения о «патриархальном» звучании сказки и якобы проводимой в ней идеи единения царя с народом. В концовке, заимствованной Ершовым в сказочном фольклоре, бесспорно отразилась ограниченность крестьянского миросозерцания, «монархические... иллюзии»,[3] идея «хорошего царя». Но не надо забывать, что вера в «хорошего царя» никогда не мешала русским мужикам бунтовать против царей, реально существующих. Так было в жизни, так и в сказке.

Один из интереснейших образов, созданных Ершовым, — чудесный помощник Ивана — Конек-горбунок. Отмечая факт самобытности этого образа, исследователи, кажется, не совсем обоснованно искали его фольклорный прототип вне использованного поэтом источника, устанавливая его генетическую связь с Сивкой-буркой (Трубицын, Ерошкина, Путинцев, Азадовский). Достаточно привести традиционную характеристику названного персонажа, чтоб увидеть коренное

---

[1] Подробно об этом см.: И. П. Лупанова, указ. соч., с. 177—180.

[2] В. Г. Утков, Дороги «Конька-горбунка», с. 20.

[3] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 20, с. 177.

различие между ним и ершовским горбунком. Сивко-бурко — типичный богатырский конь: «Сивко бежит — только земля дрожит, из очей искры сыплются, из ноздрей — дым столбом». Совсем не похож он на «игрушку-горбунка» «ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами Да с аршинными ушами». В этом отношении вполне прав Утков, отрицающий родство этих персонажей. Но исследователь вряд ли прав, когда вообще снимает вопрос о связи ершовского конька с каким бы то ни было сказочным образом.[1]

При всем своеобразии внешности горбунка, вполне возможно подсказанном жизненными впечатлениями Ершова, он имеет прямого родственника в сказочном фольклоре — опять-таки в вариантах все того же сюжета 531. Это — замухрышка-жеребенок, «самый захудалый жеребеночек», «шелудивый жеребенок» и пр. Различие между этим типом сказочного коня и Сивкой-буркой аналогично в своей основе различию между сказочным героем типа Ивана-дурака и героем-богатырем. Подобно тому как Иван-дурак, человек умный, сильный, смелый, внешне выглядит существом недалеким и невзрачным, обнаруживая свою истинную сущность лишь в «критической ситуации», так и захудалый сказочный конек оказывается по сути своей настоящим богатырским конем, но его достоинства тоже обнаруживаются не сразу и, обнаруживаясь, порой принимают внешне забавную форму. На внутреннюю связь этих персонажей указывал В. Я. Пропп: «Образ паршивого жеребенка есть чисто сказочное образование; сказка любит контрасты: точно так же именно Иван-дурак оказывается героем...»[2] Ершов, заменивший героя-богатыря известной ему фольклорной сказки Иваном-дураком, оставил ему в качестве помощника захудалого конька, обнаруженного им в вариантах того же сюжета, и сделал это, надо думать, не случайно: чутье сказочника и здесь подсказало ему решение, потенциальная возможность которого в фольклорной традиции подтверждается в настоящее время рядом записей.

В сравнении с народной сказкой его времени, Ершов значительно усилил роль чудесного помощника (недаром сказка названа его именем), сделав его не только советчиком, но и другом героя. Для этого необходимо было снабдить его характером, в фольклорной традиции отсутствующим. Горбунок обладает всеми чертами своего устно-поэтического прототипа. Но он не просто преданный хозяину слуга. Ершовский конек горячо и вместе с тем требовательно любит

[1] В. Г. Утков, Дороги «Конька-горбунка», с. 25.
[2] В. Я. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, Л., 1946, с. 154.

Ивана (сравним его искреннюю радость при виде хозяина: «Лишь игрушка-горбунок У его вертелся ног, Хлопал с радости ушами Да приплясывал ногами» — с суровым окриком, когда хозяин провинился: «...толкнув его копытом, Крикнул голосом сердитым: «Ой, дурак ты записной! Что наделал ты с собой?»). Подобно Ивану, конек весьма критически настроен по отношению к царю, что находит выражение, например, в иронических репликах в адрес властителя. Презирая царя, горбунок тепло относится к простым людям. Прежде чем объявить киту об условиях его прощения, он вбегает в село, расположенное на китовой спине, и предлагает жителям скорее уходить, чтоб не погибнуть в морской пучине.

Исключительно тонкое понимание Ершовым природы сказочного фольклора нашло выражение не только в постижении глубинной сути народно-сказочных образов и конфликтов, но и в моделировании самого сказочного мира. Герои Ершова действовали в обстановке, волшебная необычайность которой сама по себе должна была завораживать читателей и слушателей. Атмосфера «чудесности», «сказочного воздуха» обуславливалась интуитивным постижением строгих закономерностей, свойственных сказке как *особому жанру*.

Заметим, что во времена Ершова наука и понятия не имела об этих законах. Изучение сказки только-только начиналось. Первый научный сборник народных сказок выйдет только через десять лет после появления «Конька-горбунка». Еще совсем недавно за подлинный фольклор принимались псевдосказочные истории собрания В. Левшина.[1] С той же доверчивостью будут приняты в 1841 году за народные сказки подделки И. Сахарова,[2] — ими будет обманут даже Белинский.

Из всех «сказочников» русской литературы, работавших параллельно с Ершовым, жанровую природу фольклорной сказки кроме него постиг только Пушкин.

Большинство современных исследователей, настаивающих на «реалистичности» ершовской сказки, особенно часто вспоминают в этой связи изображение конного рынка и характеристику быта крестьянской семьи. Бесспорно, эти, как и многие другие фрагменты сказки, написаны под влиянием жизненных впечатлений автора. Но ведь такие впечатления никогда не были противопоказаны волшебной сказке. По наблюдению М. К. Азадовского, со второй половины XIX века «волшебно-фантастическая сказка все более и более оку-

---

[1] В. Левшин, Русские сказки, М., 1780.
[2] И. П. Сахаров, Русские народные сказки, СПб., 1841.

тывается реалистической стихией, причем это сплетение фантастики с бытовым материалом у различных сказочников проявляется различными путями и в различных формах».[1]

При этом анализ поздних текстов показывает, что «бытовизация» лишь в устах бесталанных рассказчиков ведет к разрушению сказочности. В творчестве мастеров она создает дополнительную иллюзию достоверности необычного, конструируя особого рода «сказочную реальность». Ершов и в этом отношении как бы предваряет одну из тенденций будущего развития жанра.

Конечно, и городничий, выезжающий «в туфлях, в шапке меховой С сотней стражи городской»; и гости, открывающие лавки, зазывая прибаутками крещеный люд; и градской отряд, расчищающий бичами дорогу начальству, — все это навеяно жизненными впечатлениями автора. Но ведь центр всей красочной картины — волшебные кони Ивана-дурака: «Молодые, вороные, Вьются гривы золотые, В мелки кольцы завитой, Хвост струится золотой, И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты». И то, что эти златогривые дива стоят в одном ряду с обыкновенными конями, то, что привели их сюда мужики из соседнего села, то, что на них любуются гости и надсмотрщики, — все это вместе взятое и создает ощущение достоверности чудесного. Или — начало сказки. В самом деле: не в «некотором царстве, некотором государстве» начинается действие, а в обстановке как будто вполне реальной русской деревни, крестьяне которой сеют пшеницу, выплачивают оброк и страдают от поборов исправников. Но только — «как будто»! Ведь деревня-то все-таки необычная! Ведь она — «за горами, за лесами, за широкими морями»... А на крестьянском поле среди ночи запросто гуляет златогривая кобылица.

Оснащая фантастические ситуации чисто бытовыми подробностями, Ершов приближает их к слушателю, создавая иллюзию достоверности на протяжении всего повествования. Так, Иван получает от царя сугубо сказочное задание: привезти из-за моря-окияна дочь Месяца — Царь-девицу. А сборы в путь выглядят так:

Всё в мешок дорожный склал
И веревкой завязал,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток...

---

[1] М. К. Азадовский, Литература и фольклор, с. 227.

Столь же «бытовой» выглядит охота Ивана за жар-птицами, его встреча с Месяцем и проч. Того же эффекта «достоверности» Ершов часто достигает, характеризуя какой-то чудесный момент не непосредственно, но через призму восприятия Ивана, имеющего обыкновение проводить параллели между сказочными диковинками и хорошо ему известными вещами крестьянского обихода. В качестве примера приведем его размышление при виде жар-птиц:

Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех;
А хвосты-то — сущий смех!
Чай, таких у куриц нету.
А уж сколько, парень, свету, —
Словно батюшкина печь!

Своеобразная «реализация фантастики» достигается и описанием эмоциональной реакции героя на встреченные чудеса. По поводу волшебной кобылицы он замечает: «Вишь, какая саранча!»; к заморской красавице обращается мысленно: «Погоди же ты, дрянная!»; сказочное чудо-юдо в сердцах обзывает «окаянным зубоскалом» и т. д. Все эти реплики своей бытовой заурядностью как бы срывают с чудесных явлений ореол тайны. Заметим, что они имеют немаловажное значение и для характеристики самого героя, являя собой как бы иллюстрацию к авторскому замечанию в начале повествования: «Все пустяк для дурака». Действительно, для Ивана нет в этом волшебном мире ничего, что могло бы показаться невероятным, не поддающимся осмыслению его человеческим разумом. Он «на равных» даже с представителями «иного царства» [1] — властителем моря-окияна, Царь-девицей, Месяцем Месяцовичем:

В терем к Месяцу идет
И такую речь ведет:
«Здравствуй, Месяц Месяцович,
Я — Иванушка Петрович...»

Утверждая «реалистичность» «Конька-горбунка», В. Утков объяснил сибирскими впечатлениями автора появление двух моментов, которые счел «любопытными особенностями» именно ершовской сказки: отсут-

---

[1] Употребляем термин, принятый в фольклористике для обозначения «чужого», «не человеческого» мира сказки, противопоставленного «своему» (оппозиция «свой — чужой»).

ствие в ней «намека на крепостное право» и чрезвычайную легкость передвижения героев в пространстве.[1] Однако эти «особенности» — тоже закономерности фольклорно-сказочного жанра. «В сказке идеализированное будущее проецируется в неопределенное и заведомо вымышленное прошлое»,[2] сказка всегда рассказывает о *свободных* людях и ставит их в условия «сверхпроводимости среды».[3]

В заключение — еще об одной характерной черте ершовского сказочного мира. Этот мир — веселый. М. К. Азадовский назвал когда-то основными свойствами народной сказки «заражающую бодрость и высокую веселость».[4] Эти черты обусловлены тем, что содержанием сказки всегда является победа светлых сил над силами зла. То же и у Ершова. Но веселость «Конька-горбунка» связана еще и с особой манерой сказывания. Современникам она показалась собственно авторской: в то время даже не предполагали о существовании разных «стилей» изложения сказки народными рассказчиками. Это открытие пришло в самом конце XIX века. Ершов увидел сказку еще и с этой стороны. Его манера сказывания сближается с так называемой «балагурной», характеризуемой учеными как «тип рассказа шутливого, острого, с определенной юмористической или сатирической установкой».[5] С этой манерой связано появление характерного для ершовской сказки иронического подтекста, принимающего в разных случаях разные оттенки. Так, если иронический подтекст сообщения о дежурстве старшего брата «у соседки под забором» выглядит довольно безобидной шуткой, то совсем иной характер носит он, например, в сцене покупки царем коней. Повелев отвесить серебро, он

...по милости своей
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!

(Курсив мой — *И Л*).

Весьма иронично звучит неоднократно употребляемое по адресу царя слово «отец». Оно включено в речь разных действующих лиц и в каж-

---

[1] В. Г. Утков, Дороги «Конька-Горбунка», с. 18.
[2] Д. Н. Медриш, Слово и событие в русской волшебной сказке. — В сб.: «Русский фольклор», т. XIV, Л., 1974, с. 129.
[3] Д. С. Лихачев, Поэтика древней русской литературы, Л., 1971, с. 385.
[4] М. К. Азадовский, Русские сказочники. — В кн.: «Русская сказка. Избранные мастера», т. I, Л., 1932, с. 11.
[5] М. К. Азадовский, Литература и фольклор, с. 221.

дом случае имеет особый оттенок. В речи спальника («Наш Иван, то всякий знает, От тебя, отец, скрывает...») оно выглядит обычной угодливой формой обращения к владыке. Ироническое звучание это обращение принимает в контексте: оно стоит непосредственно после лешвого обещания царя побить спальника, в случае вранья, кнутом. Ирония здесь, таким образом, обращена сразу в два адреса. Иронически звучит слово «отец» в рассказе Ивана Месяцу: «А не то меня отец Посадить грозился на кол». Ирония опять-таки обусловлена противоречием между объективным смыслом слова и смыслом контекста. Она усугубляется простодушным тоном Иванова рассказа. Наконец, это слово звучит как обращение в речи Царь-девицы, где иронический смысл ему придается самой говорящей: «отец» в ее устах — насмешка над притязаниями престарелого жениха. «Балагурная» манера обнаруживает себя и в обилии прибауток, веселых присказок, предваряющих повествование отдельных глав.

Черты специфически балагурного сказа сочетались в «Коньке-горбунке» с особенностями, свойственными вообще устному исполнению сказки. Кстати, о них читающая публика тоже не знала до конца XIX века: даже в научных сборниках, появляющихся с середины 50-х годов, не считалось необходимым фиксировать характерные для живой речи обороты, оценочные замечания сказочников (так называемые «ремарки») и проч. Ершов не был первым русским литератором, попытавшимся воспроизвести живую сказочную речь. За два года до него это сделал Владимир Даль. Но последний сам признавался, что «не сказки по себе были ему важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода, — и сказка послужила предлогом».[1] Отсюда — перенасыщенность его произведений всевозможными присловьями, поговорками, пословицами, для собственно сказочного повествования не характерными. Ершов гораздо экономнее. Он использует лишь самые типичные для живого исполнения моменты: непосредственное обращение к слушателям («Дайте, братцы, отдохнуть!»), ремарки («Надо молвить, этот спальник...»), формулы переходов от одной ситуации к другой («Но теперь мы с ним простимся...», «Но теперь мы их оставим...»).

Подведем итог.

Итак, автор «Конька-горбунка» так же глубоко, как и Пушкин, сумел постичь природу сказочного фольклора. Поэту удалось воспроизвести в своем творении народные идеалы, причем не в статическом их состоянии, но в поступательном движении, как будто уга-

[1] «Москвитянин», 1842, № 2, с. 549.

дав их пути в процессе сказочной эволюции. Ершов нашел в русской сказочной поэзии самого демократического ее героя и всемерно развил социальные потенции этого образа. Он сумел уловить строгие законы, управляющие сказочным повествованием, и создать тот особый, чудесный мир, без которого сказка не существует как жанр. Он сумел, наконец, понять роль личного начала в фольклоре и создать образ сказочника. Не случайно в своих воспоминаниях Ярославцев заметил, что в его памяти и в памяти других друзей Ершова характер поэта «сливается невольным образом с характером его сказки...» (с. 33). Это ощущение в очередной раз соотносит Ершова с его народными «соавторами». Ведь все известные нам сказки народных мастеров обязательно несут на себе печать характера своих исполнителей.

Вместе с пушкинским циклом «Конек-горбунок» стал первой страницей в истории русской литературной сказки.

Блестящим доказательством близости ершовской сказки народу явилось усвоение ее в крестьянской среде. Первый пересказ «Конька-горбунка» был записан в 80-х годах XIX века от замечательного волжского сказочника Абрама Новопольцева. К настоящему времени такого рода записи опубликованы во многих сказочных сборниках, и каждая очередная фольклористическая экспедиция обнаруживает новые тексты.

2

После появления в печати «Конька-горбунка» все складывается как будто более чем благополучно. Перед девятнадцатилетним Ершовым широко распахиваются двери в литературный мир Петербурга. Ему покровительствуют Плетнев, Жуковский, Никитенко. Им заинтересован Пушкин. Возникают весьма полезные для молодого поэта дружеские связи и знакомства, например с автором «Малороссийских приказок» Е. П. Гребенкой, на «вечерницах» у которого так много говорят о старинных сказках и легендах, о поэтической душе народа. Надо думать, что атмосфера этих вечеров определялась не только фольклористическими увлечениями хозяина дома, но и его демократическими настроениями: недаром же в баснях своих он «высмеивал пороки крепостнического общества» и «отобразил протест передовой интеллигенции против несправедливостей социального строя».[1] Не случайно появление в его кружке Владимира Даля, сказки которого,

---

[1] С. Д. Зубков, Евгений Павлович Гребенка (на укр. яз.), Киев, 1962, с. 53.

вышедшие в 1832 году «Пятком первым», были немедленно конфискованы за «насмешки над правительством».[1]

Ершова охотно печатают, его имя появляется на страницах многих популярных журналов и альманахов, часто рядом с именами самых прославленных русских писателей. Казалось бы, таланту надлежит расцвести в этой атмосфере благожелательности и славы. Но все, что выходит в это время из-под пера Ершова, не идет в сравнение с «Коньком-горбунком».

Трагедия Ершова была трагедией таланта, не познавшего себя, своей подлинной природы, своего истинного характера. Ершов был рожден сказочником. Как был рожден сказочником его великий современник — Ганс Христиан Андерсен. И так же, как тот, он, очевидно, «мог до конца отразить свое время, выразить свое отношение к вещам, свои мысли, чувства, свое мировоззрение... только в сказке».[2]

Но сказочник Ершов пишет лирические стихи, романтические поэмы, драматические повести. Почему же так? Ведь успех «Конька-горбунка» должен был утвердить его на избранном пути. Известен же его грандиозный замысел: «Иван-царевич — сказка сказок в десяти книгах и ста песнях»!

Думается, что в известной мере прав В. Утков, ищущий объяснение в житейской неопытности и незащищенности молодого сибиряка, которые в обстановке «моровой полосы» (Герцен) русской жизни сыграли роковую роль. Юному поэту «трудно было... разобраться во всем сложном сплетении тогдашней жизни и литературы. Доверчивый по натуре... он многое видимое принимал за сущее и часто не был способен проникнуть в глубину тех или иных явлений, реально учесть последствия своих поступков».[3]

С самого начала его литературная судьба оказалась связанной с «Библиотекой для чтения», значительная часть сотрудников которой пользовалась в прогрессивном лагере русской литературы славой литературных поденщиков.[4] Ершов «обласкан» Сенковским — и простодушно радуется его покровительству. Потом он поймет истинную

---

[1] Из сообщения А. Н. Мордвинова А. Х. Бенкендорфу. — «Русский архив», 1886, № 11, с. 412.

[2] Т. Сильман, Сказки Андерсена. — В кн.: Ганс Христиан Андерсен, Сказки и истории, т. 1, Л., 1969, с. 5.

[3] В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 49.

[4] Заметим, что самый факт сотрудничества в «Библиотеке для чтения» далеко не всегда означал отступничество от передовых традиций русской литературы. Там печатались и Пушкин, и Лермонтов, и Жуковский, и Кюхельбекер.

цену Барона Брамбеуса (литературный псевдоним Сенковского), потом напишет: «Ай да барон! По его словам выходит, что и воздух, которым я дышу... дар могущественной его десницы!» (Треборну, 25 сентября 1841 года. — Ярославцев, с. 80) и даст себе слово «положить вражду между собою и его совестию» (Треборну, Ярославцеву, 14 апреля 1844 года. — Ярославцев, с. 104). А сейчас он искренне благодарен Сенковскому, да и необходимость заработка заставляет за него держаться. Первый и очень благожелательный, даже восторженный отзыв на отдельное издание «Конька-горбунка» помещает булгаринская «Северная пчела» — газета, реакционная сущность которой широко известна. Не было ничего удивительного, что в противоположном лагере Ершов оказался зачисленным в «гении *Смирдинского* периода словесности».[1] Очевидно, чрезмерная резкость рецензии Белинского, появившейся в марте 1835 года в московской газете «Молва», в какой-то степени объяснялась именно восприятием Ершова в этом ряду. Повторяем: в какой-то степени. Потому что главной причиной, продиктовавшей суровость оценки, было принципиально нетерпимое отношение Белинского к переделкам народных сказок, заставившее его осудить все литературное творчество «в сказочном роде» вплоть до пушкинского. Эта нетерпимость основывалась на понимании Белинским фольклорной сказки как выражения народных идеалов — прежде всего. Уверенный в том, что передать ее дух невозможно, не побывав в «мужицкой шкуре», что писатели никогда не сложат народной сказки, ибо у них «из-под зипуна всегда будет виднеться... фрак»,[2] Белинский не счел, очевидно, новую, ершовскую переделку достойной сколько-нибудь серьезного анализа. А потому и не заметил в «Коньке-горбунке» того же, чего не заметил и в сказках Пушкина: что это произведение отвечает его же требованиям, воспроизводя народные идеалы, дух народный, что зипун сказочника Ершова натянут не на фрак, а на холщовую крестьянскую рубаху.

Надо думать, что отзыв Белинского был тяжелым ударом для юного поэта. Он мог быть воспринят как реакция всего прогрессивного лагеря. Не исключено, что с ним связаны и возникшие сомнения в правильности выбора пути. Однако вряд ли они так решительно увели бы в сторону, если б не были поддержаны двумя немаловажными обстоятельствами. Первое заключалось в том, что сказка

---

[1] В. Г. Белинский, Литературные мечтания. — Полн. собр. соч., т. 1, М., 1953, с. 100.

[2] В. Г. Белинский, Конек-горбунок. Русская сказка. Соч. П. Ершова. — Там же, с. 151.

далась Ершову, по-видимому, слишком легко, писалась «на одном дыхании» Судя по всему, Ершов в то время сам не понимал значения собственного труда. Оценивая его в кругу друзей, он говорил о нем словами, которые впоследствии услышал из уст некоторых критиков: сказка его «почти слово в слово взята из уст рассказчиков, от которых он ее слышал» (Ярославцев, с. 3). В отзыве Белинского Ершова могла смутить не только отрицательная оценка непосредственно его произведения, но и принципиальное неприятие авторской сказки вообще.

Вторым моментом, с которым нельзя не считаться, является тот факт, что до создания «Конька-горбунка» Ершов, по-видимому, не связывал свой будущий жизненный путь с литературой. Страстная преданность родному краю, тесные связи с сибирскими «просветителями» рано пробудили в нем тягу к культуртрегерской деятельности. Товарищи по университету замечали, что «Сибирь, колыбель его, преимущественно занимала его мысли... кажется, Ершов и приехал в Петербург с полным намерением... остаться здесь только на время университетского курса» (Ярославцев, с. 22, 34). С просветительскими замыслами связаны и его планы, вынашивавшиеся вместе с университетским другом Константином Тимковским, внуком знаменитого русского мореплавателя Г. И. Шелехова. Об этих планах известно из воспоминаний Ярославцева, передающего свой разговор с Ершовым, относящийся к концу 1835 года. Ершов открыл приятелю, что они с Тимковским дали клятву «на жизнь и смерть» посвятить себя изучению Сибири. Он говорил «о благе, какое можно доставить некоторым бедствующим сибирским племенам, изведав их подробно и сообщив сведения и план, как помочь им, правительству» (Ярославцев, с. 24). План предусматривал создание целого общества, занимающегося сбором сведений по истории, географии, этнографии края, издание журнала и проч. С этим замыслом связан, по-видимому, и факт подачи Ершовым в конце 1834 года прошения в Министерство народного просвещения о назначении его учителем в тобольскую гимназию. Возможно, не постигни Ершова разочарование в его литературной работе, юношеские замыслы отодвинулись бы на задний план. Но теперь они кажутся единственно важными. Характерно в этом отношении одно место в приведенном Ярославцевым разговоре: «А ты... все не намерен отказаться от поездки в Сибирь? Желаешь собрать побольше сказок?» — «Нет, это что, — заговорил он. — Созвать побольше старух, так вот и сказки. Нет, у меня другая цель! ..» (Ярославцев, с. 22).

Это нарочито подчеркнутое пренебрежение к сказкам производит впечатление какого-то отступничества от того, что совсем недав-

но было так дорого. Впоследствии он скажет с грустью об утраченном: «...Голова моя, может быть годная для сказок, нисколько не создана для анализа...» (Ярославцеву, 17 июля 1865 года. — Ярославцев, с. 188). А сейчас на уме как раз то, что требует прежде всего анализа — научная деятельность, озаренная «лучом гражданства». О твердости принятого решения свидетельствует и датированное летом 1835 года стихотворение «Тимковскому»:

Какая цель! Пустыни, степи
Лучом гражданства озарить,
Разрушить умственные цепи
И человека сотворить...
Воздвигнуть падшие народы,
Гранитну летопись прочесть
И в славу витязей свободы
Колосс подоблачный вознесть...

Приняться за немедленное осуществление планов мешает проволочка с назначением. А пока нужен заработок, чтоб прокормиться, — его дает литературная работа. Да и не может он не писать: никакие намерения и замыслы, сколь бы значительны они ни были, не могут побороть в молодом поэте тяги к творчеству. Только, может быть, попробовать поискать себя в чем-то другом, не в сказке? Ершов обращается к лирике («Молодой орел», «Русская песня», «Желание» и др.), к модному жанру романтической баллады («Сибирский казак»), к драматической повести в стихах («Фома-кузнец»), к либретто волшебной оперы («Страшный меч»), к «драматическому анекдоту» («Суворов и станционный смотритель»). Рассмотрение этих произведений с полной очевидностью свидетельствует, что истинный путь Ершова — тот, на котором были найдены Иванушка и его «малютка-горбунок». Удача (хотя и несоизмеримая с удачей первой вещи) сопровождает автора там, где он по-прежнему приникает к живительному источнику народной поэзии, и решительно изменяет там, где он от него отворачивается.

Драматическая повесть «Фома-кузнец», к сожалению, дошла до нас в одном отрывке. В ней отсутствует даже имя героя, означенное в заглавии. Зато есть набросок другого образа — кузнеца Луки, русского умельца, прямого предшественника лесковского Левши:

Спаять ли что, лихова ль подковать,
Надвесить ли торговые запоры,

Замки ли свернуть на аглицкую стать,
Иль вывести немецкие узоры —
На всё Лука! Скажи, что ни на есть
Мудреного, а к вечеру готово!

Ярославцев вспоминал, что Ершов «от беспощадных нападков на нашего простолюдина решительно отворачивался, как от невежества» (Ярославцев, с. 22). Мы помним, каким высоким чувством человеческого достоинства характеризуется его «простолюдин» Иванушка. Таков же и Лука. Внешне его ответ проезжему барину в чем-то похож на ответ Ивана-дурака царю:

Ну, барин, время ждет.
Хоть мне, то есть, и не совсем досужно,
Да так и быть...

(Ср.: «Так и быть, Стану, царь, тебе служить»). Особенно интересен заключительный монолог Луки после отъезда пренебрежительно отнесшегося к нему барина. Иронизируя над его многозначительной молчаливостью, Лука говорит:

Мы думаем, дескать, мы рассуждаем.
Мы дохтура, а вы что? Так, народ,
Оборванный, в азямах! .. Да, брат, знаем,
Пусть дохтур твой коня те подкует! ..

Решение образа Луки придает фольклорный колорит всей сцене в целом. Трудно гадать, какой смысл она должна была получить в контексте всей вещи, но в контексте сохранившегося отрывка она имеет точки соприкосновения со сказками об умных мужиках, посрамляющих бар. Немалую роль в восприятии сцены в фольклорном ключе играет и песня Луки, которой открывается действие. Она непосредственно восходит к мотивам русской любовной лирики. Недаром такой чуткий к «народному духу» композитор, как Алябьев, положил ее на музыку.

Несомненной удачей явился «драматический анекдот» «Суворов и станционный смотритель». В нем перед читателем, а позднее и перед зрителем возник образ великого полководца в ракурсе, подсказанном народными преданиями. Не случайно театральная цензура запретила пьесу к постановке.[1] Петербургский цензор Е. Ольдекоп,

---

[1] Не увидевшая столичной сцены пьеса Ершова с успехом шла впоследствии в тобольском гимназическом театре.

впервые, в 1836 году, прочитав пьесу, заметил: «Вот прекрасная безделка, которая делает честь российской словесности, но которую нельзя одобрить к представлению».[1] При повторном же чтении, в 1839 году, «прося начальство подтвердить запрещение ее, он удивлялся, что артисты настаивают на разрешении произведения, „порочащего славное имя героя“».[2] В отзыве Ольдекопа, несомненно, имелось в виду выдвижение на первый план тех демократических черт Суворова, которые в пьесе Ершова позволяют графу запросто беседовать с крестьянами, с удовольствием есть простые щи, рассказывать байки и даже... кричать петухом. Современный исследователь фольклора, посвященного Суворову, пишет, что правдивые подробности его биографии «отобраны народным творчеством под определенным углом зрения. Все они подчинены задаче создания образа, сочетающего грандиозный размах руководителя русской армии с народностью взглядов, привычек, вкусов, с демократизмом поведения и мышления».[3]

Устные песни и рассказы о Суворове, бытовавшие в XIX веке, противостояли многим литературным анекдотам и «солдатским» песням, в которых «деятельность полководца оценивается... в духе его преданности царской власти... образ его условен, лишен какой бы то ни было индивидуальности и окружен трескучей риторикой взамен искреннего чувства».[4]

Опирающаяся на фольклор пьеса Ершова тоже противостояла подобного рода творениям.

Автор назвал пьесу «анекдотом», и ее композиция вполне отвечает такому жанровому определению. В основе — недоразумение: граф Суворов принят обитателями села за простого солдата. Это порождает ряд забавных ситуаций. Следует отметить, однако, что самая атмосфера пронизывающего ее веселья — стихия простонародного смеха — определялась не ситуацией, но характером Суворова. Он не маскируется под простолюдина, он является им по духу. В пьесе есть одно место, где эта мысль Ершова особенно очевидна. Адъютант Суворова, расспрашивающий крестьян о впечатлении от мнимого загонщика, слышит: «Такой забавник, пострел его побери! Как скажет слово, так вот так и покатишься. *Ну, ни дать ни взять*

[1] Н. В. Дризен, Драматическая цензура двух эпох. 1825—1881, Пб., 1917, с. 81.
[2] Там же.
[3] Э. С. Литвин, Образ полководца Суворова в русском народном творчестве. — В сб.: «Русский фольклор. Материалы и исследования», т. IV, М.—Л., 1959, с. 41.
[4] Там же, с. 36.

Егор Матвеич, здешний староста» (курсив мой. — *И. Л.*).[1] Даже нравственное свое кредо Суворов излагает «по-фольклорному», с помощью забавных присловий: «Любит правду, ненавидит кривду; кто не кривит душой, за того стеной; а кто мытарит для дружбы, так того вон из службы: капитану арест, сфрейтору палочки».[2]

Ершов ввел в свой «анекдот» и чисто сказочный мотив «мудрых ответов». Здесь он опять опирался на фольклорную традицию: такого рода вторжение сказки в предания о Суворове зарегистрировано многими записями.

Оценивая балладу «Сибирский казак», исследователи единодушны в утверждении ее художественной несостоятельности. Несомненно, с этим нельзя не согласиться. Но и ограничиться такой констатацией тоже нельзя. Уже самый факт обращения Ершова к сюжету, давшему основу балладе, заслуживает внимания.

Устанавливая истоки «Сибирского казака», В. Утков в 1951 году назвал его «бледной копией «Леноры» Бюргера или — вернее — «Ольги» П. Катенина»;[3] в 1972 году — «бледной копией даже не «Ольги» Катенина, а «Людмилы» Жуковского».[4] Требованиями научной точности подобного рода взаимозаменяемость названных «источников» исключается. Дело в том, что каждый из них, развивая общий сюжет, знаменовал собой совершенно особое, свойственное именно данному автору отношение к проблеме фольклорного источника. Жуковский в балладе «Людмила» дал свое толкование сказочному сюжету «мертвого жениха» (Указатель, 365), использованному ранее Бюргером. Катенин в «Ольге» вступил в открытую полемику с Жуковским, борясь против приглаживания и причесывания фольклорного текста. Таким образом, параллели Ершов — Жуковский и Ершов — Катенин далеко не тождественны, и установление конкретного образца само по себе было бы немаловажно. Однако анализ баллады говорит о том, что, при всей ее слабости, она не была подражанием ни тому, ни другому поэту, но явилась попыткой вступления в завязавшуюся полемику «на равных». Значение этого факта возрастет, если обратить внимание на то, что среди многочисленных произведений 20-х — начала 30-х годов, объединяемых сюжетом «мертвого жениха», нет ни одного, которое не было бы прямым подражанием либо непосредственно Бюргеру, либо Жуковскому (иногда не «Людмиле», а «Светлане»). Авторы не находили нужным

---

[1] П. П. Ершов, Сочинения, Омск, 1950, с. 126.
[2] Там же, с. 112.
[3] Утков, «Б-ка поэта», 1951, с. 27.
[4] В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 51.

даже скрывать это.[1] В 1833 году интерес к названному сюжету был подогрет выступлением Пушкина. В «Литературных прибавлениях к „Русскому Инвалиду“» появилась его рецензия на только что вышедшие в свет «Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина». Оценивая «Ольгу», Пушкин противопоставил ее «Людмиле», автор которой, по его словам, «ослабил дух и формы своего образца»,[2] Катенин же, по мнению Пушкина, «вздумал показать нам Ленору в энергической красоте ее первобытного создания...».[3] Не исключено, что это высказывание Пушкина было одной из побудительных причин обращения Ершова к популярной теме.

Взявшись вновь за сказочный сюжет, Ершов орнаментировал его «сибирским колоритом». Он выбросил мотив небесной кары, внесенный в народно-сказочный текст Бюргером и повторенный затем как Жуковским, так и Катениным, а вслед за ними огромной армией подражателей. Убрал несвойственные сказке «кладбищенские ужасы». Щедро ввел бытовой элемент, способствующий созданию атмосферы «сказочной реальности». Вложил, наконец, в уста героини-казачки песню, в которой самые суровые критики ощущают живое народное слово. Однако все шедшее от фольклорной традиции безнадежно тонуло в море расхожих формул массовой романтической поэмы. Написанные подлинно народным языком сцены терялись среди дешевых штампованных красот. Выполненное с подлинно сказочной энергией изображение бега коня, несущего мертвеца с женой в глухую ночь («Закусив удила, Как свинец, как стрела, Конь ретивый дорогою мчится. Вот гора. На лету Он сравнял высоту И несется широкой долиной! Вот река. Чрез реку! На могучем скаку Он сплотил берега над пучиной»), соседствовало с таким описанием гибели героини: «И на жгучий песок, Как увядший цветок, Задыхаясь, она упадает, И в томленье немом, Сжавши руки крестом, Безнадежно в степи погибает».

Заметим в заключение, что при всех недостатках произведение Ершова заметно выделялось на фоне массовой баллады, свидетельствуя о самостоятельности автора в решении фольклорной темы.

В июне 1836 года была одобрена к представлению волшебно-героическая опера «Страшный меч». Музыка принадлежала извест-

---

[1] См., напр.: А. Баталин, Людмила. Подражание гг. Бюргеру и Жуковскому, М., 1828; В***, Маруся, Подражание или лучше перевод Жуковского «Светланы». — «Вестник Европы», 1829, № 6; «Людмила, драма в трех отделениях. Подражание немецкой Lenore и составленная из баллады Жуковского с сохранением некоторых стихов его», СПб., 1830.

[2] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч, т. 7, М., 1949, с. 266.

[3] Там же.

ному в то время скрипачу и органисту императорских театров, композитору Осипу Гунке, а либретто — Петру Ершову. На сцене, однако, опера не появилась, хотя была одобрена к представлению. Либретто было опубликовано только в 1876 году, как «весьма удачный опыт волшебной русской оперы».[1] В кратком редакционном предисловии о либретто говорилось: «...хоть оно составлено сорок лет тому назад, но мы считаем его до того любопытным, что решились напечатать в своем издании».[2] Представляется, что «любопытным» в 1876 году либретто Ершова могло показаться лишь в историко-литературном плане, ибо в последней трети XIX века, конечно, выглядело анахронизмом. В середине же 30-х годов оно представляло несомненный интерес.

В. Г. Утков справедливо видит заслугу автора в его стремлении помочь созданию русской национальной оперы. В самом деле, если конец XVIII — начало XIX столетия отмечены рядом попыток создания оперы на отечественном материале, то в 30-х годах русская сцена была отдана на откуп иноземным композиторам. «Аскольдова могила» Верстовского и Загоскина погоды не делала.

Обращение Ершова к сюжету из русской старины (действие оперы отнесено ко времени княжения Владимира Святого) совпало с обращением к русскому прошлому М. Глинки. Эта синхронность оказалась для Ершова роковой. Мастерство Гунке никоим образом не могло конкурировать с гениальностью Глинки. Поставленная в ноябре 1836 года на сцене Петербургского императорского театра «Жизнь за царя» заступила дорогу «Страшному мечу». Вместе с тем, если отключиться от музыкальной стороны и рассматривать достоинства двух опер на уровне либретто, то не будет ошибкой утверждать, что при всей наивности, а местами — явной подражательности ершовский текст не шел в сравнение с бездарной стряпней барона Розена, исказившего самый замысел Глинки: патриотический подвиг русского крестьянина во имя народа и родины оборачивался жертвой во славу русского престола. Расстановка акцентов в либретто Ершова была прямо противоположной.

До сих пор положительные стороны либретто видели в том, что «в нем фантазия живая; много чувства, страсти» (Ярославцев, с. 18), в «талантливом сюжетном построении»,[3] в том, что в «либретто Ершова есть единое драматическое действие».[4] Думается, что эти

---

[1] «Иллюстрированный вестник», 1876, № 7, с. 218.

[2] Там же.

[3] В. Утков, Творчество Петра Павловича Ершова. — В кн.: П. П. Ершов, Сочинения, Омск, 1950, с. 12.

[4] Там же.

достоинства сильно преувеличены. Живая фантазия Ершова обратилась на этот раз — увы — к стертым долгим употреблением шаблонам волшебно-героического реквизита. Чародей Громвал, витязь Ратмир, волшебница Всемила — даже имена этих персонажей давно уже набили оскомину. Вряд ли можно всерьез говорить и о «талантливом построении» этой вещи — достаточно громоздкой, без меры загруженной всякого рода происшествиями. Однако есть в либретто нечто действительно своеобычное — и очень ершовское. Именно общая концепция выделяет либретто Ершова в ряду «Днепровских русалок», «Князей-невидимок» и прочих «волшебных» опер. Дело в том, что события, изображенные в «Страшном мече», сами по себе не столь уж оригинальные, рассматриваются с точки зрения народа: неразделенная любовь Ратмира к прекрасной Всемиле приводит к затяжной вражде и тем самым приносит горе простым людям. Опера начинается хором крестьян, вынужденных из-за распри правителей уходить из своих селений:

...Они враждуют меж собою...
А мы страдать должны!
Мечи их губят наши села
И наши мирные поля.

Таким образом, «волшебные» персонажи оказываются похожими на удельных князей, от усобицы которых страдают русская земля и народ. Любовная история перестает быть самоцелью. Идейный замысел, намеченный экспозицией, раскрывается в великолепном дуэте часовых в начале четвертого действия. Несущиеся навстречу друг другу лирические песни Часового Ратмирова войска и Часовой Всемилы — как руки, протянутые через головы враждующих хозяев.

Барон Розен усердно делал из народного исторического героя верного слугу царя, жертвующего собой во славу русского престола. Ершов волею сказочника заставил придуманных им фантастических властителей смирить свои страсти во имя интересов народа, честь которому была отдана в заключительной здравице.

Сказочность «Страшного меча» идет в целом не от русского фольклора. Она в родстве со «сказочностью» «Вадима» Жуковского, а иной раз заставляет даже вспомнить «Громвала» Каменева (1804). Разве что образ Всемилы, хозяйки волшебного царства, как-то ассоциируется с образом фольклорной Царь-девицы, и самая ситуация любви-вражды находит соответствие в некоторых сказках с ее участием. Но демократический дух либретто сродни духу фольклора, и

в первую очередь — именно сказочного с его идеалами добра и справедливости.

Менее всего в петербургском периоде творчества Ершова интересна лирика. Если в произведениях более крупных жанров, как мы убедились, при всех их недостатках ощущается нечто самобытное, ершовское, то лирические стихи в основном подражательны. Исключение составляют лишь те, где поэт опирается на народно-песенную поэтику («Молодой орел», «Русская песня»). Но и эти вещи убеждают, что призвание Ершова — в другом. Не случайно песенная лирика производит наиболее выгодное впечатление в контексте его сказочных произведений («Сибирский казак» — песня казачки, «Страшный меч» — дуэт часовых).

Представляет интерес последнее стихотворение Ершова, написанное перед отъездом в Сибирь (в середине 1836 года было наконец удовлетворено его прошение о назначении в Тобольск), — не с точки зрения его художественных достоинств, но как свидетельство противоречивых чувств, владевших автором в эти дни. Созданное в момент, когда, казалось бы, сбывались заветные мечты Ершова, «Прощание с Петербургом» от первой до последней строки овеяно грустью по уходящему, предчувствием опрометчивости совершаемого шага. Бесспорно, Ершов не мог не понимать того, о чем позднее писал друзьям из Тобольска: отстранение от живой литературной жизни, средоточием которой был в то время Петербург, должно гибельно сказаться на его поэтической работе. А ведь каковы бы ни были его разочарования в ней, как ни был он искренен в своих просветительских замыслах, — поэзия была делом его жизни.

3

Родной Тобольск встретил поэта неласково. Холодно принятый местным начальством, начиная от директора гимназии и кончая главой губернского образования князем Горчаковым, Ершов вынужден был начать свою учительскую карьеру с преподавания нелюбимой им латыни, в обстановке настороженности и скрытого недоброжелательства. Правда, с латынью удалось довольно скоро расстаться, получив место преподавателя словесности в старших классах. Однако начинания молодого учителя, читающего курс по университетским запискам, отвергающего всеми признанную риторику Кошанского и вздумавшего даже разработать собственную обширную «Программу словесности», встретили ожесточенное сопротивление — прежде всего инспектора Качурина, вскоре назначенного директором гимназии.

«С самого моего сюда приезда... — писал Ершов Треборну в конце декабря 1836 года, — я не только не мог порядочно ничем заняться, но не имел ни одной минуты веселой» (Ярославцев, с. 47).

В феврале 1837 года жестоким потрясением ворвалась в жизнь Ершова весть о трагической кончине Пушкина. Поэт откликнулся на нее стихотворением «Кто он?», невысокий художественный уровень которого в известной мере компенсировался искренностью чувства. Возможно, что смерть любимого поэта несколько встряхнула Ершова, заставив вспомнить свой долг писателя. Во всяком случае, в сентябре — октябре 1837 года было закончено новое большое произведение — поэма «Сузге». Ершов отправил ее в «Библиотеку для чтения», но она, по его собственным словам, была «обракована Сенковским» (Ярославцев, с. 56). В 1838 году ее опубликовал в «Современнике» Плетнев.

Неприветливый прием новой поэмы Ершова его старым издателем был не случаен. В 30-х годах русская литература наводнена подражательными произведениями, авторы которых превратили жанровые особенности пушкинских поэм в «систему литературных шаблонов».[1] Массовая романтическая поэма начинает вызывать отпор со стороны критики. Сенковский, «обраковывая» поэму, причислил, по-видимому, «Сузге» к этому же сонму подражаний. На деле же поэма Ершова достаточно оригинальна и обладает достоинствами, не позволяющими историку литературы пройти мимо.

На первый взгляд «Сузге» как будто прочно вписывается в ряд поэм, авторы которых, по словам В. М. Жирмунского, «вслед за Пушкиным отправляются самостоятельно на поиски живописных тем и восточной экзотики в пределах европейской и азиатской России».[2] Перечисляя эти произведения, исследователь обращает особое внимание на популярность «сибирской» темы и, называя вдохновленные ею поэмы, заканчивает этот ряд упоминанием о «Сузге». Внимательный анализ последней показывает, однако, что в ряду этих поэм «Сузге» выделяется своим своеобразием. Отмечая наличие в произведениях названной группы национально-исторических мотивов, В. М. Жирмунский справедливо заметил, что «исторические имена и события... совершенно оттеснены выступающим на первый план романтическим сюжетом» и что «первое место в повествовании занимает любовный конфликт».[3] Взглянем под этим углом зрения на «Сузге».

---

[1] В. Жирмунский, Байрон и Пушкин. Из истории романтической поэзии, Л., 1924, с. 305.
[2] Там же, с. 262.
[3] Там же, с. 264, 265.

Начальные строки как будто намекают на популярную «гаремную» тему: две прекрасные жены хана Кучума легко могут быть восприняты как соперницы в будущей любовной драме. Однако дальнейшее изложение событий совершенно уводит читателя от «гаремных» мотивов. В центре поэмы — героическая борьба казаков Ермака с воинами хана Кучума. В отличие от произведений, где изображение исторических событий является лишь фоном для романических переживаний героев, здесь столкновение враждующих сил, вызванные им поступки действующих лиц выдвигаются на передний план. Позиция Ершова при этом совершенно своеобычна.

Как правило, авторы решительно принимают ту или другую сторону, героизируя и поэтизируя либо Ермака,[1] либо хана Кучума.[2] В поэме Ершова Ермак и Кучум вообще остаются «вне кадра». Внимание сосредоточено на простых воинах, предводительствуемых у татар «седым старшиной», а у русских — воеводой Грозой. Те и другие в равной степени вызывают сочувствие и уважение поэта. Это идет не от непонимания исторической прогрессивности русских побед в Сибири. Поэма Ершова лежит в русле того гуманного интереса к «иным» народам, той терпимости к чужому, инородному, того умения понимать людей иных культур, которое искони отличало прогрессивную литературу Руси. Оно освещало индийские дневники Афанасия Никитина, «Записки русского путешественника» Карамзина; им вдохновлялось литературное кредо декабристов — статья Ореста Сомова «О романтической поэзии», призывающая «окинуть взором края России»; оно было одной из главных примет «южных поэм» Пушкина и Лермонтова.

Ершов смотрит в прошлое взором русского интеллигента-гуманиста, которому дороги простые люди земли, независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания, который всей душой за человеческое братство: «Ясный день *для всех* восходит, Льет *на всех* равно сиянье» (курсив мой. — *И. Л.*). Недаром впоследствии «Сузге» могла быть поставлена и на тобольской сцене в связи с трехсотлетием похода Ермака (1889), и на сцене деревни Верхне-Филатовой Тобольского уезда, где исполнялась на татарском языке (1922).

Поэт не только сам с уважением относится к мужеству обеих сторон, но наделяет взаимным уважением и самих противников:

---

[1] См.: А. Шишков 2-й, Ермак. — В кн.: «Опыты Александра Шишкова 2-го», М. 1828.

[2] См.: П. Шкляревский, Кучум. — В кн.: «Стихотворения Павла Шкляревского», СПб., 1831.

«Слушай, храбрый воевода! —
Старшина седой промолвил...
«Будь спокоен, храбрый воин! —
Старшине в ответ промолвил
Атаман Гроза казачий.

Главное действующее лицо поэмы — прекрасная жена Кучума, черноглазая Сузге. То, что в центре повествования оказывается женщина, вполне обычно для романтических поэм и обусловлено обязательной для них любовной историей. Необычным было другое: если в романтической поэме, как правило, отсутствует «картина душевной жизни героини»,[1] то Ершова прежде всего занимает именно душевная жизнь Сузге. Причем — и это уже совсем неожиданно — Сузге раскрывается не в любовной драме, но в патриотически-гражданском подвиге. «Гаремная красавица» получает здесь черты, роднящие ее с Авдотьей Рязаночкой русской исторической песни. В осажденной врагами крепости Сузге долгие дни поддерживает собственным примером мужество ее защитников. Но главный ее подвиг даже не в этом. С образом «храброй царицы» связана центральная идея поэмы — идея высокой жертвы во имя народного счастья. В час, когда становится ясно, что защитники крепости не могут дольше сдерживать напор врага и должны погибнуть, Сузге покупает им жизнь, соглашаясь сдаться в плен казакам. Цену этой жертвы понимают не только татары, но и русские. Казачий атаман низко кланяется Сузге, а поняв, что она покончила с собой, чтобы избежать позора, и он, и его воины обнажают головы.

«Сузге» выделялась среди массовой романтической поэмы и вниманием к специфике исторического времени. Это внимание проявилось не в этнографической орнаментировке, не в экзотических подробностях, но в попытке проникнуть в дух эпохи. Было бы преувеличением говорить здесь о большой удаче. Однако некоторые детали заслуживают в этом смысле быть отмеченными: например, в письме Ермака воеводе Грозе бесспорно уловлен Ершовым стиль посланий эпохи Грозного. Вместе с тем сама русская старина явилась Ершову в дымке народного предания, граничащего со сказкой. Заметим в заключение, что «Сузге» выделяется и в метрическом отношении. Подавляющее большинство романтических поэм продолжали пушкинскую традицию четырехстопного ямба. «Сузге» написана четырехстопным хореем, тем самым, к которому поэт обращался в «Коньке-горбунке» и в песенной лирике. Это также способствовало приданию поэме колорита народности.

---

[1] В. Жирмунский, указ. соч., с. 273.

«Сузге» была последним крупным поэтическим произведением Ершова. «Обракование» ее в «Библиотеке для чтения» он, видимо, перенес болезненно. 1837 год нанес ему еще один удар: вернулся в Петербург Тимковский, с которым Ершов связывал уже известные нам грандиозные планы изучения Сибири. Поэт тяжело переживал «измену» друга, вынужденная причина которой была ему неизвестна.[1] Весной 1838 года пришла еще одна беда: умерла мать. «С ней схоронил я последнюю из *родных*, — пишет Ершов Треборну, — правда, *родственников* у меня много, но все они заменят ли одного родного?» (Ярославцев, с. 57).

Его письма этой поры полны безнадежности, какой-то даже обреченности, неверия в свои творческие возможности. Сообщая Треборну о холодном приеме, оказанном его поэме, автор добавляет: «Жду весны, чтоб снова начать неудачи» (Ярославцев, с. 56). Через несколько месяцев пишет: «Иногда даже приходило мне на мысль: как бы сделать это, чтобы с первого моего дебюта пред публикою на «Коньке-горбунке» до последнего стихотворения... все это — изгладилось дочиста» (Ярославцев, с. 58).

Но ведь Ершову всего 23 года! Ведь впереди еще целая жизнь! И сквозь все тяготы переживаний робким ростком пробивает дорогу надежда: «...Иван-царевич (помнишь? поэма в 10 томах и в 100 песнях) приходит мне на ум, и я решаюсь ждать того времени, когда стукнет мне 24 или лучше 25 лет... И тогда — „В некотором царстве, в некотором государстве..."» (Ярославцев, с. 58).

Но вот стукнуло двадцать четыре, стукнуло и двадцать пять. Вместо сказочной поэмы появляются лирические стихи. Они пишутся в период увлечения Ершова вдовой инженер-полковника Никиты Лещева, Серафимой Александровной. Увлечение перешло в серьезное чувство и завершилось браком. Что же касается стихов, то в них отразилась целая гамма сменяющих друг друга чувств: они явились еще одним свидетельством того, что мысли о своем призвании не покидали Ершова и любой свой поступок, любой шаг он оценивал с точки зрения его способствования или противодействия поэтической деятельности.

В стихотворении «К музе» вспыхнувшая любовь к женщине понята как пробуждение от «душевного недуга», бросающее поэта вновь в объятия «небесной подруги» его счастливой юности. Новый

---

[1] В. Г. Утков полагает, что Тимковскому пришлось отказаться от осуществления намеченных планов в связи со смертью отца (1837), сделавшей его единственным кормильцем семьи («Б-ка поэта», 1951, с. 30).

путь видится путем певца любви, воспевающего свою «звезду». Однако окрепшее, посерьезневшее чувство требует серьезных жизненных решений, ставит перед поэтом проблему выбора. В стихотворении «Сон» он видит себя на вершине холма; под ногами — «ручей в венке из пышных роз», а вблизи «волной неукротимой, как буря, лился водопад». Ручей манит, как обещание спокойной, тихой жизни, но «шум и блеск нагорного потока Своей поэзией высокой Другую мысль вливали в ум». Но вот — решение принято. В стихотворении «Перемена», датированном февралем 1839 года, читаем:

Исчез обман мечты самолюбивой,
Открылась вся дней прежних пустота,
Другую мне рисует перспективу
В дали годов спокойная мечта.

Эта «перспектива» — «домашний кров... любовь — прекрасная подруга, а вкруг нее веселый круг детей».

После женитьбы Ершова, прочно приковавшей его к Тобольску, его жизнь идет как бы в двух измерениях. На внешней ее орбите — служба с ее маленькими радостями и крупными неприятностями и семейная жизнь, в которой минуты радостного покоя вряд ли уравновешивали часы, дни, месяцы горьких переживаний (достаточно сказать, что с 1840 по 1858 год Ершов пережил смерть двух жен и шестерых детей).

А в письмах и немногочисленных произведениях тобольского учителя развертывается перед нами трудная повесть поэтической души, отстаивающей у жестокой жизненной прозы свое право на творчество.

В качестве иллюстрации к сказанному перелистаем подряд страницы хотя бы трех лет тобольской жизни Ершова — с 1840 по 1843 год.

Гимназия. Здесь — усилившиеся преследования со стороны Качурина, требующего от молодого педагога «говорить не по убеждению, а потому, что так написано в риторике Кошанского», «...такая строгость, что преподаватель не должен сметь свое суждение иметь, иначе назовут немного не бунтовщиком» (Треборну, от 10 июля 1840 года. — Ярославцев, с. 73). Закрыт по требованию Качурина гимназический театр, в создание которого Ершов вложил столько любви и энергии. Представления к награде, не получающие ходу («то просрочат бумагой, то покапризничает начальник». — Ярославцев, с. 72). Задержка производства в чин восьмого класса, дающий право на ряд столь необходимых привилегий...

Семейная жизнь, ради которой Ершов отказался от мысли перебраться в Петербург. Здесь — великолепное «приданое» жены: «красота, ангельский характер». Но одновременно — и «четверо милых детей» (Ярославцев, с. 65). Такое «приданое» требует серьезных расходов. Ершов мечется в поисках денег, залезает в долги. Его собственные дети умирают, едва появившись на свет. Отдушина — дружба со ссыльными декабристами.[1] К этому времени относится пересылка Ершовым Плетневу двух до тех пор неизвестных стихотворений Пушкина, хранившихся у Пущина (Ярославцев, с. 74).[2] Исследователи справедливо видят в этой акции Ершова свидетельство его высокой гражданской активности. Однако прозаические тяготы жизни настолько велики, что Ершов в эти годы, по утверждению родственников, близок к самоубийству. Этому легко поверить, читая его письма с перечислением атакующих со всех сторон бед. И все же главным в них, как и прежде, остается другое: непреоборимое стремление сохранить в себе поэта.

«О себе ж скажу, что, несмотря ни на что, я не откажусь от поэзии...» (16 июля 1840 года. — Ярославцев, с. 72).

«Будет время, когда Ершов докажет, что он не напрасно провел столько лет в Тобольске...» (25 сентября 1841 года. — Ярославцев, с. 84).

«Но напрасно ты (Ярославцев. — *И. Л.*) винишь меня, будто бы служебные и семейные обязанности так овладели мною, что я совсем забыл поэзию. Напротив. Никогда я еще так не понимал ее, как теперь. Вот и главная причина, почему я бросил перо на время, пока зерно не созреет. А оно зреет, скажу без самохвальства...» (7 марта 1842 года. — Ярославцев, с. 86).

«...Огонь поэзии еще не потух в душе моей... Веря в назначение, я спокоен в своей покамест медленности и жду минуты действия, как воин ждет сигнала к кровавой борьбе» (22 июля 1843 года. — Ярославцев, с. 100).

Важно отметить, что среди многих и многих строк, посвященных все той же теме, встречаем и такие, что заставляют предположить возможность обращения их автора не к поэзии вообще, но к поэзии, открывшей ему путь в литературу, то есть сказочной.

«...Время катит чередом, час за часом, день за днем, а Ершов сидит все пнем», — читаем в письме Ярославцеву и Треборию от

---

[1] См. об этом: Азадовский, «Б-ка поэта», 1961, с. 39—41; В. Г Утков, Гражданин Тобольска, с. 106—107.

[2] «Мой первый друг, мой друг бесценный...» и «Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок...». Ершов послал в Петербург еще два стихотворения Пушкина, но какие именно — неизвестно.

14 июля 1842 года (Ярославцев, с. 90). Уже неожиданно веселая форма грустного по существу признания, этот бойкий топоток Конька-горбунка заставляют насторожиться — и не зря: «Да нет же, черт возьми! Этот пень сохранил еще корни. Дождется ясного солнца да питательного дождя и пустит ветви от моря до моря... зашумит зеленью и станет наливать плоды — раз-два-три-сто и тысяча! Кушайте, люди православные, себе во здравие, свету в утешение...» (Ярославцев, с. 90). Так пахнуло от этих строк балагурной ершовской присказкой, что хочется верить: где-то тут, близко, зацветает и сама сказка. Во всяком случае высказанное в связи с приведенным письмом предположение Ярославцева: «...замышленное... громадное создание вроде русской поэмы, «Иван-царевич», не только росло и развивалось в душе его, но даже по временам являлось и на бумаге» — кажется вполне законным. Кстати, именно в связи с цитированными строками Ярославцев приводит единственный уцелевший отрывок сказочного содержания — «Рано утром под окном.. ». К сожалению, судить на его основании о замысле Ершова невозможно. Что касается ситуации, намеченной отрывком, то она, возможно, восходит к русским сказкам о Несмеяне-царевне.

Из письма от 22 июля 1843 года узнаем, что Ершов отправил Гунке либретто оперы «Жених-мертвец». Текст его, увы, утерян. Вторичное обращение к уже использованной сказочной теме само по себе вызывает интерес. Может быть, Ершов постарался здесь исправить ошибки «Сибирского казака»?

Что касается лирики этих лет, то в ней то же боренье с пошлостью и скукой окружающей жизни во имя свободного полета поэтической мечты. В отличие от любовного цикла 1838—1839 годов, здесь среди вещей по-прежнему художественно слабых находим и довольно удачные. К ним принадлежит, например, «Моя поездка». В ней с особой отчетливостью видится и мир, окружающий поэта, и его настроения:

Город бедный! Город скушный!
Проза жизни и души!
Как томительно и душно
В этой мертвенной глуши!

Выезд за шлагбаум — в поле — освобождение, обретение свободы. Впервые после таких стихов, как «Молодой орел», появляется вновь в лирике Ершова образ «вольной птицы, рвущейся в облака», — это вырвавшееся из «убийственных цепей» пошлости сердце поэта.

1844 год внес серьезное изменение в служебное положение Ершова. Он назначен инспектором Тобольской гимназии. В. Утков пишет, что «инспекторская должность поглотила Ершова целиком, не оставив ему времени на литературные занятия».[1] В самом деле, до 1846 года написано всего три стихотворения.

«Не лучше ль менее известным, А более полезным быть», — читаем в письме Треборну и Ярославцеву от 14 апреля 1844 года (Ярославцев, с. 104). Поэт как будто смирился с судьбой. Он называет себя «прежним служителем поэзии» (с. 105), говорит о «полном перерождении» (с. 106) в душе, считает, что «дело *пока* кончено» (с. 107). И все же: слово «пока» не случайно подчеркнуто. Уже в начале 1845 года Ершов корит себя в письме Ярославцеву за «бездействие» и тут же замечает: «...бездействие — часто признак будущей сильной деятельности, — тишина пред бурей». И совсем обнадеживающе звучит финал письма: «Скоро, скоро, может быть, вместо этого письма ты получишь целую кипу. Ни слова более...» (Ярославцев, с. 110). Эти строки опять-таки дали Ярославцеву повод к догадке о «готовящемся создании поэмы „Иван-царевич“». Как знать, может, и так...

В 1845 году на Ершова обрушивается новое горе: умирает горячо любимая жена. «Теперь я вполне одинок... Одна отрада у меня — ездить на ее могилу...» — пишет он Треборну 9 июля (Ярославцев, с. 111). И все же жизнь снова вызывает его из душевного одиночества, даря еще одно сильное чувство. Оно находит выход в цикле стихов 1846 года («Моя звезда», «Храм сердца», «Призыв», «Три взгляда» и др.). Друзья поэта были совершенно правы, огорчаясь тем, что новые стихи ничем не отличались «от многих, ежедневно появлявшихся», и что «звуки и картины создались под влиянием тех поэтов, которыми он увлекался» (Ярославцев, с. 116).

Цикл 1846 года был последним обращением к лирике в творческой биографии Ершова. И надо думать, это связано не с осознанием им своего творческого бессилия, но с пришедшим более ясным пониманием специфики своего подлинного призвания. В июле 1847 года, отвечая на предложение Смирдина издать собрание его сочинений, он пишет, что «готов уступить на одно издание: Конька, Суворова и Сузге», что же касается «мелких стихотворений», то собирается отпеть им «вечную память» (Ярославцев, с. 124).

В 1849 году Ершова постигла крупная неприятность по службе. Летом этого года ушел в отставку директор гимназии Качурин, и по всем данным его место должен был занять инспектор Ершов. Однако

---

[1] В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 105.

совершенно неожиданно для всех директором был назначен бывший советник пограничного управления Чигиринцев. В. Г. Утков предполагает, что поводом к незаслуженной «немилости» явилась былая связь Ершова с Константином Тимковским, арестованным в 1849 году по делу петрашевцев. Известно, что следственная комиссия тщательно проверяла связи арестованных, в том числе и сибирские.[1]

Ершов тяжело переживал служебное несчастье. И, конечно, не только потому, что, обремененный семьей, он не мог быть равнодушен к открывавшимся с новой должностью материальным возможностям. Главным было его отношение к своему делу. Впоследствии, уже став директором гимназии, Ершов напишет: «По сибирским моим правилам я службу не считаю одним средством для жизни, а истинным ее элементом» (Ярославцев, с. 158). Такое понимание службы как служения родине характерно для него с самого начала преподавательской деятельности. Вероятно, наряду с поэтическим дарованием Ершову был дан от природы и незаурядный талант педагога, развернуться которому не позволяли обстоятельства. Новая должность, несомненно, могла дать больший простор его живым начинаниям. Не получив ее, он лишался и этих возможностей.

Тягостно пережитая неудача по службе обернулась еще одной удачей (последней!) в творческой биографии Ершова. Восприняв случившееся в некотором смысле как «перст судьбы» («...Кто знает, м. б. неудачи мои по службе — наказание за измену моему назначению?» — Ярославцев, с. 132), Ершов еще раз взялся за перо. На этот раз родились произведения прозаического жанра — цикл рассказов «Сибирские вечера» (переименованы затем в «Осенние вечера»). Сам автор назвал их «литературными безделками» (Ярославцев, с. 135), написанными с единственной целью — испытать, «не разучился ли ... писать» (Ярославцев, с. 138). Время их создания было рекордным: пять рассказов за десять дней Но это лишь подтверждает, что в начале 50-х годов Ершов как писатель еще полон сил. И главное: в нем не угас великолепный дар, отпущенный природой — дар сказочника. Ибо из всех рассказов цикла несомненными достоинствами обладают именно те, что соотносятся со сказочным жанром. Особый интерес в этой связи представляет «Сказка об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел».

Сказка повествует о приключениях служителя храма Даждьбога, ушедшего искать по белу свету более счастливой жизни, нежели та, которую пришлось ему вести тридцать лет, прислуживая

---

[1] В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 112—118.

распутным жрецам. В дороге Иван встречается со старцем-прохожим, и дальнейшее странствие они продолжают вдвоем. Но в то время как старец бескорыстно совершает добрые дела, Иван-трапезник занят исключительно мошенничеством. С обмана началось и их совместное путешествие: ночью Иван потихоньку съел булку, оставленную на утро от общего ужина, но решительно отказывается в этом признаться. Лишь в финале, когда старец делит вырученные деньги на три кучки, назначая третью «тому, кто булку съел», Иван говорит правду.

Мы нашли возможным столь подробно изложить содержание этой вещи потому, что дело с ней обстоит не так просто, как показалось друзьям поэта и современным исследователям, охарактеризовавшим ее как «сказку о лжеце, о его жадности и о наказанном упрямстве».[1] Никто не обратил внимания на многозначительность диалогов, предваряющих повествование и подводящих его итог. Рассказывающий сказку Немец[2] говорит: «А форму сказки я выбрал для того, чтобы не задеть кого-нибудь ненароком».[3] После окончания рассказа, в числе прочих «странностей», замеченных в повествовании, указывается и на то, что «трапезник при капище носит крещеное имя».[4] Эти замечания «между строк» наводят на мысль о какой-то мистификации. Так оно и есть. Ершов устами своего обрусевшего немца рассказывает не что иное, как популярную русскую сказку о жадном и лживом попе, путешествующем со святым Петром или святым Николаем. Подобные сказки к настоящему времени опубликованы в ряде сборников. Наиболее ранние записи находим в собрании А. Н. Афанасьева.[5] Вариант такой сказки известен и из коллекции В. Даля. Возможно, что именно Даль познакомил Ершова в Петербурге с подобным текстом: не зря в разговоре приятелей, предваряющем рассказ Немца, упоминается его соотечественник, питерский немец, который «до того привязался к православному народу,

---

[1] В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 123.

[2] Новеллы цикла рассказываются в доме полковника Безруковского самим хозяином и его гостями: Академиком, Немцем, татарином Таз-баши и Лесняком. При этом реплики Безруковского, которыми он сопровождает или поясняет рассказ, приобретают особое значение, если учесть, что образ полковника в какой-то мере автобиографичен; не случайно его фамилия обязана своим происхождением деревне Безруковой, месту рождения Ершова. Ярославцев сообщает, что Ершов иногда называл себя Безруковским (с. 6).

[3] П. П. Ершов, Сочинения, Омск, 1950, с. 256.

[4] Там же, с. 276.

[5] А. Н. Афанасьев, Народные русские легенды, М., 1859 (№№ 4, 5).

что, кажется, готов за одну русскую побасенку отдать всех своих нибелунгов».[1]

Ершов поступил здесь примерно так, как поступил со сказкой Пушкина о попе и работнике его Балде В. А. Жуковский: пытаясь провести ее через рогатки цензуры, он заменил попа купцом Козьмой Остолопом. Через двенадцать лет после Ершова так же поступит создатель сборника «Великорусских сказок» разночинец-демократ И. А. Худяков:[2] лишенный возможности опубликовать сатирическую антипоповскую сказку в ее «натуральном» виде, он заменил в ее названии и, соответственно, во всем тексте одиозное «поп» нейтральным «хозяин».[3]

Говоря об «Иване-трапезнике», В. Г. Утков заметил, что сказке «вредит... некоторая условность завязки в финале»[4] (в завязке Иван бросает храмовые ключи в голову Даждь-бога, в финале в Даждь-бога превращается его спутник). Это ощущение условности вызвано камуфляжем, к которому прибегает автор, преподнося читателю антиклерикальную сказку. Завязка и финал в точности совпадут с соответствующими местами фольклорного оригинала, если Даждь-бога заменить русским святым, Ивана-трапезника — русским попом, а языческий храм — православной церковью.

Уже сам по себе факт использования Ершовым в качестве источника антиклерикального текста весьма многозначителен. (Стоит вспомнить, что аналогичного рода вещи, включенные в сборник Афанасьева, повлекли за собой его запрещение в России и нелегальное издание в Лондоне.) Но автор не довольствуется тем, что непосредственно дает ему источник. В фольклорной сказке обличению подвергнут только главный герой. По поводу же сказки Немца один из слушателей замечает: «Тут достается на калачи не одному Ивану-трапезнику».[5] В самом деле, Иван у Ершова сам в какой-то степени жертва чужой жадности и непорядочности. Тридцать лет он жил впроголодь, в то время как жрецы «каждую ночь, благодаря усердию поклонников, пировали в запертом храме».[6] Демаскируя сказку, мы таким образом находим в ней обличение церковного уклада в целом, где высшее духовенство попирает низшее, а низшее восприни-

---

[1] П. П. Ершов, Сочинения, с. 256.

[2] Между прочим — ученик Ершова по Тобольской гимназии.

[3] И. А. Худяков, Великорусские сказки, М., 1860—1862, № 27. В «списке погрешностей», помещенном в 3-м выпуске, значится: «на стр. 107 в 20-й строке напечатано „хозяин“, надо читать: „поп“».

[4] В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 123.

[5] П. П. Ершов, Сочинения, с. 275.

[6] Там же, с. 257.

мает как образец жизнь высшего. Знакомая нам ирония автора «Конька-горбунка» заметна и в изображении других привилегированных особ: тиуна, вершащего суд над проворовавшимся Иваном и не забывающего при этом взять с пострадавшего «в казну по проценту с цены украденной вещи, а с народа за шум в раннее утро взыскать по деньге в пользу благочиния»;[1] князя, сокрушающегося, что у него мало времени, чтоб «пытать всех» на предмет обнаружения вора, а потом искренне возмущающегося: «Этакие негодяи!.. Ни одного вора в целом городе!»[2] Отлично вылеплен характер главного героя — человека, может быть, не столь уж дурного по природе, но развращенного обстановкой обмана и мошенничества, в которой протекала его жизнь.

Органически связан со сказочным фольклором и «Рассказ о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой знатный чин». Читатель неожиданно встретился здесь со старыми знакомыми: ханом Кучумом и его любимой женой, черноглазой Сузге. Только теперь они явились участниками не героических дел исторической поэмы, но забавных событий полной лукавого юмора анекдотической народной сказки. Впрочем — не только юмора. Герой, добивающийся производства в муфтии ценой чудовищного унижения, и хан, от всей души при этом веселящийся, — как похожа эта сцена на ту, другую, где «посыльные дворяна», усмотрев, что их нечаянное падение на пол смешно для царя, «меж собой перемигнулись и вдругорядь растянулись»!

Производство героя в муфтии — великолепный анекдотический пуант — при всем комизме сопроводительных деталей оставляет ощущение уже не юмористического, но сатирического захода.

Оценивая «Осенние вечера», современные исследователи отмечают некоторые достоинства цикла, но довольно единодушно утверждают его архаичность на фоне русской литературы 50-х годов.[3] Справедливость этого мнения по отношению к таким вещам, как «Панин бугор», «Страшный лес» или, особенно, «Чудный храм», — несомненна. Но к рассмотренным нами «сказочным» историям оно не может быть отнесено ни в коей мере. Возникшие на прочном фундаменте народной сказки, они полностью разделяют с ней одно из важнейших ее свойств: всегда соотноситься с современностью. В этом смысле «Сказка об Иване-трапезнике» и рассказ Таз-баши не менее современны в 50-х годах, чем знаменитые сказки Щедрина — в 80-х.

---

[1] П. П. Ершов, Сочинения, с. 263.
[2] Там же, с. 273.
[3] Азадовский, «Б-ка поэта», 1961, с. 47; В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 123.

«Осенние вечера», по-видимому, были восприняты самим Ершовым как удача. И она его окрыляла. В письме к Плетневу (июнь 1851 года) он опять пишет о замысле «русской эпопеи» (Ярославцев, с. 141). Сложись судьба «Осенних вечеров» более счастливым образом, Ершов, возможно, и не коротал бы в дальнейшем свои дни, «закутанный в ... неизвестность» (Ярославцев, с. 184). К сожалению, рассказы пролежали без движения до 1857 года. А ведь Ершов как-то суеверно связал с их судьбой свою собственную: «Я сказал себе: если «Вечера» мои будут иметь успех — я снова примусь за перо и напишу что-нибудь получше; если ж нет... Ну да известно, что на нет и суда нет. Капут — и полно» (Треборну, 23 августа 1852 года. — Ярославцев, с. 147).

Годы, протекшие с момента написания «Осенних вечеров» до их опубликования, — очень тяжелые для Ершова во всех отношениях. В 1853 году умирает вторая жена, оставив на его руках трех малолетних дочерей. Новый брак, облегчив, с одной стороны, жизнь поэта, с другой, естественно, потребовал средств на содержание увеличившегося семейства. Письма Ершова друзьям производят крайне тяжелое впечатление. Отчаявшийся поэт предлагает свои услуги в качестве переводчика с французского, просит узнать об оплате театральной редакцией пьес, готов даже вновь стать сотрудником Сенковского. В это трудное время пришла на помощь автору его сказка. В 1856 году, после смерти Николая I, со сказки был снят цензурный запрет и «Конек-горбунок» вышел четвертым изданием.

Новое издание не было идентичным предыдущим. Впервые сказка была напечатана без цензурных точек. Частично Ершов восстановил здесь цензурные купюры предыдущих изданий, частично заменил старый текст новым. Исследователям, обращавшимся к этой новой редакции, долгое время казалось, что она значительно проиграла по сравнению с первой, утратив в значительной мере, несмотря на восстановление некоторых цензурных пропусков, свой демократический дух. Однако тщательное сопоставление изданий обнаруживает, что правка Ершова идет по линии углубления социального конфликта, усиления сатирического звучания образов и дальнейшей творческой разработки народно-сказочной поэтики.[1] Она показывает, что Ершов не растерял ни идеалов молодости, ни мироощущения сказочника.

---

[1] Подробно см.: И. П. Лупанова. О двух изданиях (первом и четвертом) сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок». — «Русский фольклор», т. 3, 1958, с. 334—342.

Конец 1856 года принес Ершову еще один подарок: Плюшар согласился напечатать «Осенние вечера». Опять просыпаются угасшие было надежды. Но, появившись на свет, рассказы остаются без отклика, который так мучительно нужен автору. «Журналисты молчат... А признаюсь, одобрение их развязало бы у меня руки — написать что-нибудь получше» (Ярославцев, с. 158—159). Эти строки датированы 28 августа 1857 года. А ведь Ершов уже восемь месяцев как назначен директором Тобольской гимназии и начальником дирекции училищ всей Тобольской губернии! Он достиг наконец положения, о котором мечтал, которое открывало возможность осуществления его педагогических иоваций. И он действительно делает так много для совершенствования образования в родном краю! Расширяет гимназическую библиотеку, способствует открытию воскресной школы для взрослых, печется о женском образовании, совершает продолжительные инспекторские поездки по губернии, практически помогая учителям, проводя даже уроки, «чтоб показать, что и как надобно делать» (Ярославцев, с. 161).

Казалось бы, эта кипучая деятельность могла удовлетворить Ершова, являясь в известной мере реализацией части его юношеских планов. Однако этого, очевидно, не было. И приведенные выше грустные строки о судьбе «Осенних вечеров», и детская радость по поводу предстоящей командировки в Петербург, когда опять вспыхивает надежда на перемену в судьбе, и заинтересованность проектом «журнала в народном духе», который собрался издавать Мей, — все это доказывает, что Ершов не мог внутренне примириться с отказом от писательского труда. Вместе с тем горечь несбывшихся поэтических надежд делала его, по-видимому, все более и более равнодушным к жизни в широком смысле. Не исключено, что это в какой-то степени способствовало его неожиданной отставке в 1862 году. Ярославцев связывает ее с очередными служебными неприятностями: «...неизбежные служебные столкновения... затрудняя его благие намерения, отвратили его наконец решительно от официально-педагогической деятельности» (Ярославцев, с. 182). Вероятно, так оно и было. Но столь же вероятно, что Ершов сумел бы, как и раньше, перетерпеть очередные невзгоды, если б не охлаждение его ко всему окружающему, кроме семьи. Биографы констатируют, что последние годы он жил подлинным затворником. Лишь один раз, по словам Ярославцева, «встрепенулась опять душа его» (с. 184): в 1864 году в Петербурге был поставлен Сен-Леоном балет по сказке Ершова. Судя по некоторым письмам 1865 года, в сердце стареющего поэта опять закрадываются неясные надежды: «...что ж касается до созданий фантазии, которые..., не облеклись... в плоть и кровь, то их у меня такая

куча, что для воплощения не достало бы и десятка человеческих жизней», — пишет он Ярославцеву 17 июля (Ярославцев, с. 188). А в письме Треборну от 19 ноября, советуясь относительно возможности пристроить несколько старых своих пьес, замечает: «...кто знает, может быть, успех (хотя бы и небольшой) стародавних писаний вызовет меня снова на литературный труд, более достойный» (Ярославцев, с. 190).

Этим последним надеждам не суждено было сбыться. Петербургские книгоиздатели решительно отделили сказку от ее автора. В 1865 году «Конек-горбунок» вышел шестым изданием, в 1868-м — седьмым. Книжка шла нарасхват, ее переписывали от руки, немногие оставшиеся от продажи экземпляры шли втридорога. А создатель сказки медленно угасал в Тобольске «без денег, без здоровья... с гомеопатической надеждой на лучшее...» (Треборну, 13 июля 1866 года. — Ярославцев, с. 191).

От последних лет жизни Ершова сохранилось лишь несколько эпиграмм, обнаружением которых наука обязана советским исследователям. Они ценны как свидетельство того, что через все перипетии нелегкой своей судьбы поэт пронес незыблемыми высокие гражданские принципы и не утратил своего дара остро чувствовать комические стороны бытия, чутко ощущая ту грань, за которой смешное переходит в отвратительное.

Есть среди этих эпиграмм одна, посвященная тобольскому губернатору Деспот-Зеновичу:

Тебя я умным признавал,
Ясновельможная особа,
А ты с глупцом меня сравнял...
Быть может, мы ошиблись оба?

Да ведь перед нами все тот же Иванушка! Иванушка, которого «умные» братья, «умный» царь, «умные» вельможи считают глупцом, а он...

Таким он и остался до конца дней — Петр Павлович Ершов, лукавый русский сказочник, русский-прерусский Иванушка, добрый, смелый, ироничный.

И в самую последнюю минуту своей жизни, утром 18 августа 1869 года, покидая навсегда дорогую ему семью, он поручил ее заботам верного своего друга: «Не плачь, Леночка, — сказал он жене, — «Конек-горбунок» вывезет».[1]

---

[1] Цит. по кн.: В. Г. Утков, Гражданин Тобольска, с. 139.

* * *

Стоит на тобольском кладбище мраморный памятник. «Автор народной сказки...» Самое главное о Ершове сказано в этой надгробной надписи. И все же хочется продолжить, уточнить ее.

Не только автор сказки, но один из зачинателей литературного сказочного жанра, национальную специфику которого определила неизменная опора на фольклор.

Не просто автор сказки, но замечательный *русский сказочник.* В одну горькую минуту своей жизни он усомнился в своем призвании. Но сказка, уже открывшая ему свои за семью печатями спрятанные тайны, осталась ему верна. Приобщив поэта к высоким народным идеалам, она приказала ему сделать их точкой отсчета при решении любой литературной темы. Она подсказала откровенное презрение к сильным мира его — царям, вельможам, попам и утвердила уважение к простолюдину, приняв участие не только в создании великолепного умника Иванушки-дурачка, но и кузнеца-умельца Луки, и пастухов, и воинов, и казаков и казачек, и еще одного русского мужика — графа Суворова-Рымникского. Сказка стала демократической доминантой его поэм, стихов, пьес, сделав все его творчество в целом светлой страницей в истории русской словесности мрачной николаевской эпохи.

Что же касается «Конька-горбунка», первого и единственного создания поэта, где он и сказка взаимно и до конца доверяли друг другу, то его судьба стала блестящим подтверждением тому, что в Ершове русская литература приобрела и потеряла безвременно талант редкостный, яркий, «волшебный».

Когда-то, в связи с выходом в свет четвертого издания сказки, Ершов выразил надежду, что она «будет тешить» «люд честной» до тех пор, «пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т. е. до скончания века» (Ярославцев, с. 155). Поэт ошибся лишь в одном: не только в русской душе нашло отголосок слово его сказки. Переведенная на множество языков, она «тешит» испанцев и итальянцев, немцев и японцев, чехов и поляков... Потому что национальное ее начало, как во всякой истинно народной сказке, неотторжимо от общечеловеческого.

И. Лупанова

1. КОНЕК-ГОРБУНОК

Русская сказка
в трех частях

ЧАСТЬ 1

Начинается сказка сказываться.

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле,
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына.
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой
Возвращалися домой.

В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали
Отродяся не видали;
Стали думать да гадать —
Как бы вора соглядать;
Наконец себе смекнули,
Чтоб стоять на карауле,

Хлеб ночами поберечь,
Злого вора подстеречь.

Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат сбираться:
Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала,
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник.
Ночь проходит, день приходит;
С сенника дозорный сходит
И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
«Эй вы, сонные тетери!
Отпирайте брату двери,
Под дождем я весь промок
С головы до самых ног!»
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
«Всю я ноченьку не спал,
На мое ж притом несчастье,
Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, всё благополучно».
Похвалил его отец:
«Ты, Данило, молодец!
Ты вот, так сказать, примерно,
Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всем,
Не ударил в грязь лицом».

Стало сызнова смеркаться,
Средний брат пошел сбираться:

Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать;
Он ударился бежать —
И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу:
«Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отоприте;
Ночью страшный был мороз —
До животиков промерз».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
«Всю я ноченьку не спал,
Да, к моей судьбе несчастной,
Ночью холод был ужасный,
До сердцов меня пробрал;
Всю я ночку проскакал;
Слишком было несподручно...
Впрочем, всё благополучно».
И ему сказал отец:
«Ты, Гаврило, молодец!»

Стало в третий раз смеркаться,
Надо младшему сбираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!»
Братья ну ему пенять,
Стали в поле погонять,
Но, сколь долго ни кричали,
Только голос потеряли:
Он ни с места. Наконец

Подошел к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побегáй в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков,
Дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает,
Малахай свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет.

Ночь настала; месяц всходит;
Поле всё Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звезды на небе считает
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал..
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольцы завитая.
«Эхе-хе! Так вот какой
Наш воришко!.. Но постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуту улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгнýл к ней на хребет —
Только задом наперед.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась как стрела.
Вьется кругом над полями,
Виснет пластью надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,

Хочет, силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном;
Но Иван и сам не прост —
Крепко держится за хвост.

Наконец она устала.
«Ну, Иван, — ему сказала, —
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.
Дай мне место для покою
Да ухаживай за мною,
Сколько смыслишь. Да смотри:
По три утренни зари
Выпущай меня на волю
Погулять по чисту полю.
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней —
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку.
На земле и под землей
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет,
В голод хлебом угостит,
В жажду медом напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле».

«Ладно», — думает Иван
И в пастуший балаган
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает
И, лишь только рассвело,
Отправляется в село,

Напевая громко песню
«Ходил молодец на Пресню».

Вот он всходит на крыльцо,
Вот хватает за кольцо,
Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаяся, вскричали:
«Кто стучится сильно так?»
— «Это я, Иван-дурак!»
Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать —
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь
Про ночное похожденье,
Всем ушам на удивленье:
«Всю я ноченьку не спал,
Звезды на небе считал;
Месяц, ровно, тоже светил, —
Я порядком не приметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бородою и с усам;
Рожа словно как у кошки,
А глаза-то — что те плошки!
Вот и стал тот черт скакать
И зерно хвостом сбивать.
Я шутить ведь не умею —
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал.
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жомах
Бился, бился мой хитрец
И взмолился наконец:
«Не губи меня со света!

Целый год тебе за это
Обещаюсь смирно жить,
Православных не мутить».
Я, слышь, слов-то не померил,
Да чертенку и поверил».
Тут рассказчик замолчал,
Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли — захохотали,
Ухватившись под бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слез не посмеяться,
Хоть смеяться — так оно
Старикам уж и грешно.

Много ль времени аль мало
С этой ночи пробежало, —
Я про это ничего
Не слыхал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело,
Год ли, два ли пролетело, —
Ведь за ними не бежать...
Станем сказку продолжать.
Ну-с, так вот что! Раз Данило
(В праздник, помнится, то было)
Натянувшись зельно пьян,
Затащился в балаган.
Что ж он видит? — Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
«Хм! Теперь-то я узнал,
Для чего здесь дурень спал!» —
Говорит себе Данило...
Чудо разом хмель посбило;
Вот Данило в дом бежит
И Гавриле говорит:
«Посмотри, каких красивых
Двух коней золотогривых

Наш дурак себе достал, —
Ты и слыхом не слыхал».
И Данило да Гаврило,
Что в ногах их мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком.

Спотыкнувшися три раза,
Починивши оба глаза,
Потирая здесь и там,
Входят братья к двум коням.
Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом горели;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
Любо-дорого смотреть!
Лишь царю б на них сидеть.
Братья так на них смотрели,
Что чуть-чуть не окривели.
«Где он это их достал? —
Старший среднему сказал, —
Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.
Ну, Гаврило, в ту седмицу
Отведем-ка их в столицу;
Там боярам продадим,
Деньги ровно поделим.
А с деньжонками, сам знаешь,
И попьешь и погуляешь,
Только хлопни по мешку.
А благому дураку
Не достанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки:
Пусть их ищет там и сям.
Ну, приятель, по рукам!»
Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулися домой,

Говоря промеж собой
Про коней, и про пирушку,
И про чудную зверушку.

Время катит чередом,
Час за часом, день за днем, —
И на первую седмицу
Братья едут в град-столицу,
Чтоб товар свой там продать
И на пристани узнать,
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами
И нейдет ли царь Салтан
Бусурманить христиан.
Вот иконам помолились,
У отца благословились,
Взяли двух коней тайком
И отправились тишком.

Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;
Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.
Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискочкой, словно пан,
Боком входит в балаган.
Всё по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:
«Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал,
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету

Провалиться на мосту!
Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!»

Тут конек ему заржал.
«Не тужи, Иван, — сказал, —
Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Ты на черта не клепли:
Братья коников свели.
Ну, да что болтать пустое,
Будь, Иванушка, в покое.
На меня скорей садись,
Только знай себе держись;
Я хоть росту небольшого,
Да сменю коня другого:
Как пущусь да побегу,
Так и беса настигу».

Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загреби берет,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами
Вихорь вился под ногами.
И в два мига, коль не в миг,
Наш Иван воров настиг.

Братья то есть испугались,
Зачесались и замялись,
А Иван им стал кричать:
«Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал».
Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат Иваша!
Что переться — дело наше!

Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот.
Сколь пшеницы мы ни сеем,
Чуть насущный хлеб имеем.
А коли неурожай,
Так хоть в петлю полезай!
Вот в такой большой печали
Мы с Гаврилой толковали
Всю намеднишнюю ночь —
Чем бы горюшку помочь?
Так и этак мы решили,
Наконец вот так вершили,
Чтоб продать твоих коньков
Хошь за тысячу рублёв.
А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову —
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.
Да к тому ж старик неможет,
Работáть уже не может,
А ведь надо ж мыкать век, —
Сам ты умный человек!»
— «Ну, коль этак, так ступайте
Говорит Иван, — продайте
Златогривых два коня.
Да возьмите ж и меня».
Братья больно покосились,
Да нельзя же! согласились.

Стало на небе темнеть;
Воздух начал холодеть.
Вот, чтоб им не заблудиться,
Решено остановиться.
Под навесами ветвей
Привязали всех коней,
Принесли с естным лукошко,
Опохмелились немножко
И пошли, что боже даст,
Кто во что из них горазд.

Вот Данило вдруг приметил,
Что огонь вдали засвéтил.

На Гаврилу он взглянул,
Левым глазом подмигнул
И прикашлянул легонько,
Указав огонь тихонько;
Тут в затылке почесал,
«Эх, как тёмно! — он сказал. —
Хоть бы месяц этак в шутку
К нам проглянул на минутку,
Всё бы легче. А теперь,
Право, хуже мы тетерь...
Да постой-ка... Мне сдается,
Что дымок там светлый вьется.
Видишь, эвон!.. Так и есть!..
Вот бы курево развесть!
Чудо было б!.. А послушай,
Побега́й-ка, брат Ванюша.
А, признаться, у меня
Ни огнива, ни кремня».
Сам же думает Данило:
«Чтоб тебя там задавило!»
А Гаврило говорит:
«Кто-петь знает, что горит!
Коль станичники пристали—
Поминай его, как звали!»

Всё пустяк для дурака,
Он садится на конька,
Бьет в круты бока ногами,
Теребит его руками,
Изо всех горланит сил...
Конь взвился, и след простыл.
«Буди с нами крестна сила! —
Закричал тогда Гаврило,
Оградясь крестом святым. —
Что за бес такой под ним!»

Огонек горит светлее,
Горбунок бежит скорее.
Вот уж он перед огнем.
Светит поле, словно днем;
Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится.

Диву дался тут Иван.
«Что, — сказал он, — за шайтан!
Шапок с пять найдется свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо-огонек!»

Говорит ему конек:
«Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы.
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою».
— «Говори ты! Как не так!» —
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернул его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил.
Вот он к братьям приезжает
И на спрос их отвечает:
«Как туда я доскакал,
Пень горелый увидал;
Уж над ним я бился, бился,
Так что чуть не надсадился;
Раздувал его я с час.
Нет ведь, черт возьми, угас!»
Братья целу ночь не спали,
Над Иваном хохотали;
А Иван под воз присел,
Вплоть до утра прохрапел.

Тут коней они впрягали
И в столицу приезжали,
Становились в конный ряд
Супротив больших палат.

В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий —
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.

Вот обедня наступает;
Городничий выезжает
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним глашатый,
Длинноусый, бородатый;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:
«Гости! Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте;
А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому,
Ни давёжа, ни погрому,
И чтобы никой урод
Не обманывал народ!»
Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают:
«Эй, честны́е господа,
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары-бары,
Всяки разные товары!»
Покупальщики идут,
У гостей товар берут;
Гости денежки считают
Да надсмотрщикам мигают.

Между тем градской отряд
Приезжает в конный ряд;
Смотрит — давка от народу,
Нет ни выходу, ни входу;
Так кишма вот и кишат,
И смеются, и кричат.
Городничий удивился,
Что народ развеселился,
И приказ отряду дал,
Чтоб дорогу прочищал.
«Эй вы, черти босоноги!
Прочь с дороги! Прочь с дороги!»
Закричали усачи
И ударили в бичи.

Тут народ зашевелился,
Шапки снял и расступился.

Пред глазами конный ряд;
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольцы завитой,
Хвост струится золотой...
Наш старик, сколь ни был пылок,
Долго тер себе затылок.
«Чуден, — молвил, — божий свет,
Уж каких чудес в нем нет!»
Весь отряд тут поклонился,
Мудрой речи подивился.
Городничий между тем
Наказал престрого всем,
Чтоб коней не покупали,
Не зевали, не кричали;
Что он едет ко двору
Доложить о всем царю.
И, оставив часть отряда,
Он поехал для доклада.

Приезжает во дворец.
«Ты помилуй, царь-отец, —
Городничий восклицает
И всем телом упадает, —
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!»
Царь изволил молвить: «Ладно,
Говори, да только складно».
— «Как умею, расскажу:
Городничим я служу,
Верой-правдой исправляю
Эту должность...» — «Знаю, знаю!»
— «Вот сегодня, взяв отряд,
Я поехал в конный ряд.
Приезжаю — тьма народу!
Ну, ни выходу, ни входу.

Что тут делать?.. Приказал
Гнать народ, чтоб не мешал.
Так и сталось, царь-надёжа!
И поехал я — и что же?
Предо мною конный ряд;
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольцы завитой,
Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».

Царь не мог тут усидеть.
«Надо ко́ней поглядеть, —
Говорит он. — Да не худо
И завесть такое чудо.
Гей, повозку мне!» — И вот
Уж повозка у ворот.
Царь умылся, нарядился
И на рынок покатился;
За царем стрельцов отряд.

Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И «ура» царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг...
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: «Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?» — Тут Иван,
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:

«Эта пара, царь, моя,
И хозяин — тоже я».
— «Ну, я пару покупаю!
Продаешь ты?» — «Нет, меняю».
— «Что в промен берешь добра?»
— «Два-пять шапок серебра».
— «То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!

Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками
И с сафьянными бичами.
Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.

Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается:
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить.
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну мою
Я в приказ тебе даю,
Царско слово в том порука.
Что, согласен?» — «Эка штука!
Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Весь конюшенный завод
Царь в приказ мне отдает;

То есть я из огорода
Стану царский воевода.
Чудно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить.
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!»

Тут он кликнул скакунов
И пошел вдоль по столице,
Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его — горбатко —
Так и ломится вприсядку,
К удивленью людям всем.

Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски их зашили,
Постучали ендовой
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились,
Стали жить да поживать
Да Ивана поминать.

Но теперь мы их оставим,
Снова сказкой позабавим
Православных христиан,
Что наделал наш Иван,
Находясь во службе царской,
При конюшне государской;
Как в суседки он попал,
Как перо свое проспал,
Как хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на небе послом,
Как он в Солнцевом селенье
Киту выпросил прощенье;

Как, к числу других затей,
Спас он тридцать кораблей;
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился;
Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.

ЧАСТЬ 2

Скоро сказка сказывается,
А не скоро дело делается.

Зачинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего коурка.
Козы на море ушли;
Горы лесом поросли;
Конь с златой узды срывался,
Прямо к солнцу поднимался;
Лес стоячий под ногой,
Сбоку облак громовой;
Ходит облак и сверкает,
Гром по небу рассыпает.
Это присказка: пожди,
Сказка будет впереди.
Как на море-окияне,
И на острове Буяне
Новый гроб в лесу стоит,
В гробе девица лежит;
Соловей над гробом свищет;
Черный зверь в дубраве рыщет.
Это присказка, а вот —
Сказка чередом пойдет.

Ну, так видите ль, миряне,
Православны христиане,

Наш удалый молодец
Затесался во дворец;
При конюшне царской служит
И нисколько не потужит
Он о братьях, об отце
В государевом дворце.
Да и что ему до братьев?
У Ивана красных платьев,
Красных шапок, сапогов
Чуть не десять коробов;
Ест он сладко, спит он столько,
Что раздолье да и только!

Вот неделей через пять
Начал спальник примечать...
Надо молвить, этот спальник
До Ивана был начальник
Над конюшней надо всей,
Из боярских слыл детей;
Так не диво, что он злился
На Ивана и божился,
Хоть пропасть, а пришлеца
Потурить вон из дворца.
Но, лукавство сокрывая,
Он для всякого случа́я
Притворился, плут, глухим,
Близоруким и немым;
Сам же думает: «Постой-ка,
Я те двину, неумойка!»
Так неделей через пять
Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит;
Но при всем том два коня
Словно лишь из-под гребня:
Чисто-начисто обмыты,
Гривы в косы перевиты,
Челки собраны в пучок,
Шерсть — ну, лоснится, как шелк;
В стойлах — свежая пшеница,
Словно тут же и родится,

И в чанах больших сытá
Будто только налита.
«Что за притча тут такая? —
Спальник думает, вздыхая. —
Уж не ходит ли, постой,
К нам проказник домовой?
Дай-ка я подкараулю,
А нешто, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить, —
Лишь бы дурня уходить.
Донесу я в думе царской,
Что конюший государской —
Бесурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь божию не ходит,
Католицкий держит крест
И постами мясо ест».
В тот же вечер этот спальник,
Прежний кóнюших начальник,
В стойлы спрятался тайком
И обсыпался овсом.

Вот и полночь наступила.
У него в груди заныло:
Он ни жив ни мертв лежит,
Сам молитвы всё творит.
Ждет суседки... Чу! всамделе,
Двери глухо заскрыпели.
Кони топнули, и вот
Входит старый коновод.
Дверь задвижкой запирает,
Шапку бережно скидает,
На окно ее кладет
И из шапки той берет
В три завернутый тряпицы
Царский клад — перо Жар-птицы.
Свет такой тут заблистал,
Что чуть спальник не вскричал,
И от страху так забился,
Что овес с него свалился.

Но суседке невдомек!
Он кладет перо в сусек,
Чистить ко́ней начинает,
Умывает, убирает,
Гривы длинные плетет,
Разны песенки поет.
А меж тем, свернувшись клубом,
Поколачивая зубом,
Смотрит спальник, чуть живой,
Что тут деет домовой.
Что за бес! Нешто нарочно
Прирядился плут полночный:
Нет рогов, ни бороды,
Ражий парень, хоть куды!
Волос гладкий, сбоку ленты,
На рубашке прозументы,
Сапоги как ал сафьян, —
Ну точнехонько Иван.
Что за диво? Смотрит снова
Наш глазей на домового...
«Э! так вот что! — наконец
Проворчал себе хитрец. —
Ладно, завтра ж царь узнает,
Что твой глупый ум скрывает.
Подожди лишь только дня,
Будешь помнить ты меня!»
А Иван, совсем не зная,
Что ему беда такая
Угрожает, всё плетет
Гривы в косы да поет;
А убрав их, в оба чана
Нацедил сыты медвяной
И насыпал дополна
Белоярого пшена.
Тут, зевнув, перо Жар-птицы
Завернул опять в тряпицы,
Шапку под ухо — и лег
У коней близ задних ног.

Только начало зориться,
Спальник начал шевелиться,

И, услыша, что Иван
Так храпит, как Еруслан,
Он тихонько вниз слезает
И к Ивану подползает,
Пальцы в шапку запустил,
Хвать перо — и след простыл.

Царь лишь только пробудился,
Спальник наш к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить».
— «Говори, не прибавляя, —
Царь сказал ему, зевая, —
Если ж ты да будешь врать,
То кнута не миновать».
Спальник наш, собравшись с силой,
Говорит царю: «Помилуй!
Вот те истинный Христос,
Справедлив мой, царь, донос.
Наш Иван, то всякий знает,
От тебя, отец, скрывает,
Но не злато, не сребро —
Жароптицево перо..»
— «Жароптицево?.. Проклятый!
И он смел такой богатый...
Погоди же ты, злодей!
Не минуешь ты плетей!..»
— «Да и то ль еще он знает? —
Спальник тихо продолжает,
Изогнувшися. — Добро!
Пусть имел бы он перо;
Да и самую Жар-птицу
Во твою, отец, светлицу,
Коль приказ изволишь дать,
Похваляется достать».
И доносчик с этим словом,
Скрючась обручем таловым,

Ко кровати подошел,
Подал клад — и снова в пол.

Царь смотрел и дивовался,
Гладил бороду, смеялся
И скусил пера конец.
Тут, уклав его в ларец,
Закричал (от нетерпенья),
Подтвердив свое веленье
Быстрым взмахом кулака:
«Гей! Позвать мне дурака!»

И посыльные дворяна
Побежали по Ивана,
Но, столкнувшись все в углу,
Растянулись на полу.
Царь тем много любовался
И до колотья смеялся.
А дворяна, усмотря,
Что смешно то для царя,
Меж собой перемигнулись
И вдругóрядь растянулись.
Царь тем так доволен был,
Что их шапкой наградил.
Тут посыльные дворяна
Вновь пустились звать Ивана
И на этот уже раз
Обошлися без проказ.

Вот к конюшне прибегают,
Двери настежь отворяют
И ногами дурака
Ну толкать во все бока.
С полчаса над ним возились,
Но его не добудились;
Наконец уж рядовой
Разбудил его метлой.

«Что за челядь тут такая? —
Говорит Иван, вставая. —
Как хвачу я вас бичом,

Так не станете потом
Без пути будить Ивана!»
Говорят ему дворяна:
«Царь изволил приказать
Нам тебя к нему позвать».
— «Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся
И тотчас к нему явлюся», —
Говорит послам Иван.
Тут надел он свой кафтан,
Опояской подвязался,
Приумылся, причесался,
Кнут свой сбоку прицепил,
Словно утица поплыл.

Вот Иван к царю явился,
Поклонился, подбодрился,
Крякнул дважды и спросил:
«А пошто меня будил?»
Царь, прищурясь глазом левым,
Закричал к нему со гневом,
Приподнявшися: «Молчать!
Ты мне должен отвечать:
В силу коего указа
Скрыл от нашего ты глаза
Наше царское добро —
Жароптицево перо?
Что я — царь али боярин?
Отвечай сейчас, татарин!»
Тут Иван, махнув рукой,
Говорит царю: «Постой!
Я те шапки, ровно, не дал,
Как же ты о том проведал?
Что ты — ажно ты пророк?
Ну, да что, сади в острог,
Прикажи сейчас хоть в палки —
Нет пера, да и шабалки!..»
— «Отвечай же! Запорю!..»
— «Я те толком говорю:
Нет пера! Да, слышь, откуда
Мне достать такое чудо?»
Царь с кровати тут вскочил
И ларец с пером открыл.

«Что? Ты смел еще переться?
Да уж нет, не отвертеться!
Это что? А?» Тут Иван
Задрожав, как лист в буран,
Шапку выронил с испуга.
«Что, приятель, видно, туго? —
Молвил царь. — Постой-ка, брат!..»
— «Ох, помилуй, виноват!
Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж врать не стану».
И, закутавшись в полу,
Растянулся на полу.
«Ну, для первого случа́ю
Я вину тебе прощаю, —
Царь Ивану говорит. —
Я, помилуй бог, сердит!
И с сердцов иной порою
Чуб сниму и с головою.
Так вот, видишь, я каков!
Но, сказать без дальних слов,
Я узнал, что ты Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
Если б вздумал приказать,
Похваляешься достать.
Ну, смотри ж, не отпирайся
И достать ее старайся».
Тут Иван волчком вскочил.
«Я того не говорил, —
Закричал он, утираясь, —
О пере не запираюсь,
Но о птице, как ты хошь,
Ты напраслину ведешь».
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. — Но смотри!
Если ты недели в три
Не достанешь мне Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правеж — в решетку — на кол!

Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

Горбунок, его почуя,
Дрягнул было плясовую;
Но, как слезы увидал,
Сам чуть-чуть не зарыдал.
«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек,
У его вертяся ног. —
Не утайся предо мною,
Всё скажи, что за душою;
Я помочь тебе готов.
Аль, мой милый, нездоров?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал,
«Ох, беда, конек! — сказал. —
Царь велит достать Жар-птицу
В государскую светлицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня:
Помнишь, ехав в град-столицу,
Ты нашел перо Жар-птицы;
Я сказал тебе тогда:
Не бери, Иван, — беда!
Много, много непокою
Принесет оно с собою.
Вот теперя ты узнал,
Правду ль я тебе сказал.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди.
Ты к царю теперь поди
И скажи ему открыто:
„Надо, царь, мне два корыта

Белоярого пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход“».

Вот Иван к царю идет,
Говорит ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярого пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».
Царь тотчас приказ дает,
Чтоб посыльные дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался.
Взял корыта, и пшено,
И заморское вино;
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток —
Доставать тоё Жар-птицу.

Едут целую седмицу,
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Ты увидишь здесь поляну;
На поляне той гора
Вся из чистого сребра;

Вот сюда-то до зарницы
Прилетают жары-птицы
Из ручья воды испить;
Тут и будем их ловить».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает на поляну.
Что за поле! Зелень тут
Словно камень изумруд,
Ветерок над нею веет,
Так вот искорки и сеет,
А по зелени цветы
Несказанной красоты.
А на той ли на поляне,
Словно вал на океане,
Возвышается гора
Вся из чистого сребра.
Солнце летними лучами
Красит всю ее зарями,
В сгибах золотом бежит,
На верхах свечой горит.

Вот конек по косогору
Поднялся на эту гору,
Вёрсту, другу пробежал,
Устоялся и сказал:
«Скоро ночь, Иван, начнется,
И тебе стеречь придется.
Ну, в корыто лей вино
И с вином мешай пшено.
А чтоб быть тебе закрыту,
Ты под то подлезь корыто,
Втихомолку примечай,
Да смотри же, не зевай.
До восхода, слышь, зарницы
Прилетят сюда жар-птицы
И начнут пшено клевать
Да по-своему кричать.
Ты, которая поближе,
И схвати ее, смотри же!
А поймаешь птицу-жар —
И кричи на весь базар;
Я тотчас к тебе явлюся».

— «Ну, а если обожгуся? —
Говорит коньку Иван,
Расстилая свой кафтан. —
Рукавички взять придется:
Чай, плутовка больно жгется».
Тут конек из глаз исчез,
А Иван, кряхтя, подлез
Под дубовое корыто
И лежит там как убитый.

Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жары-птицы налетают;
Стали бегать и кричать
И пшено с вином клевать.
Наш Иван, от них закрытый,
Смотрит птиц из-под корыта
И толкует сам с собой,
Разводя вот так рукой:
«Тьфу ты, дьявольская сила!
Эк их, дряни, привалило!
Чай, их тут десятков с пять.
Кабы всех переимать —
То-то было бы поживы!
Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех,
А хвосты-то — сущий смех!
Чай, таких у куриц нету.
А уж сколько, парень, свету —
Словно батюшкина печь!»
И, скончав такую речь
Сам с собою под лазейкой,
Наш Иван ужом да змейкой
Ко пшену с вином подполз —
Хвать одну из птиц за хвост.
«Ой! Конечек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек!
Я ведь птицу-то поймал!» —
Так Иван-дурак кричал.
Горбунок тотчас явился.
«Ай, хозяин, отличился! —

Говорит ему конек. —
Ну, скорей ее в мешок!
Да завязывай тужее;
А мешок привесь на шею,
Надо нам в обратный путь».
— «Нет, дай птиц-то мне пугнуть! —
Говорит Иван. — Смотри-ка,
Вишь, надселися от крика!»
И, схвативши свой мешок,
Хлещет вдоль и поперек.
Ярким пламенем сверкая,
Встрепенулася вся стая,
Кру́гом огненным свилась
И за тучи понеслась.
А Иван наш вслед за ними
Рукавицами своими
Так и машет и кричит,
Словно щелоком облит.
Птицы в тучах потерялись;
Наши путники собрались,
Уложили царский клад
И вернулися назад.
Вот приехали в столицу.
«Что, достал ли ты Жар-птицу?» —
Царь Ивану говорит,
Сам на спальника глядит.
А уж тот, нешто от скуки,
Искусал себе все руки.
«Разумеется, достал», —
Наш Иван царю сказал.
«Где ж она?» — «Постой немножко,
Прикажи сперва окошко
В почивальне затворить,
Знашь, чтоб темень сотворить».
Тут дворяна побежали
И окошко затворяли.
Вот Иван мешок на стол:
«Ну-ка, бабушка, пошел!»
Свет такой тут вдруг разлился,
Что весь люд рукой закрылся.
Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!

Эй, решеточных сзывайте!
Заливайте! Заливайте!»
— «Это, слышь ты, не пожар,
— Это свет от птицы-жар, —
Молвил ловчий, сам со смеху
Надрываяся. — Потеху
Я привез те, осударь!»
Говорит Ивану царь:
«Вот люблю дружка Ванюшу!
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой —
Будь же царский стремянной!»

Это видя, хитрый спальник,
Прежний конюших начальник,
Говорит себе под нос:
«Нет, постой, молокосос!
Не всегда тебе случится
Так канальски отличиться.
Я те снова подведу,
Мой дружочек, под беду!»

Через три потом недели
Вечерком одним сидели
В царской кухне повара
И служители двора,
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана.
«Эх! — один слуга сказал, —
Как севодни я достал
От соседа чудо-книжку!
В ней страниц не так чтоб слишком,
Да и сказок только пять,
А уж сказки — вам сказать,
Так не можно надивиться;
Надо ж этак умудриться!»
Тут все в голос: «Удружи!
Расскажи, брат, расскажи!»
— «Ну, какую ж вы хотите?
Пять ведь сказок; вот смотрите:
Перва сказка *о бобре*,
А вторая *о царе*;

Третья... дай бог память... точно!
О боярыне восточной;
Вот в четвертой: *князь Бобыл*;
В пятой... в пятой... эх, забыл!
В пятой сказке говорится...
Так в уме вот и вертится...»
— «Ну, да брось ее!» — «Постой!..»
— «О красотке, что ль, какой?»
— «Точно! В пятой говорится
О прекрасной Царь-девице.
Ну, которую ж, друзья,
Расскажу сегодня я?»
— «Царь-девицу! — все кричали. —
О царях мы уж слыхали,
Нам красоток-то скорей!
Их и слушать веселей».
И слуга, усевшись важно,
Стал рассказывать протяжно:

«У далеких немских стран
Есть, ребята, окиян.
По тому ли окияну
Ездят только бесурманы;
С православной же земли
Не бывали николи
Ни дворяне, ни миряне
На поганом окияне.
От гостей же слух идет,
Что девица там живет;
Но девица не простая,
Дочь, вишь, Месяцу родная,
Да и Солнышко ей брат.
Та девица, говорят,
Ездит в красном полушубке,
В золотой, ребята, шлюпке
И серебряным веслом
Самолично правит в нем;
Разны песни попевает
И на гусельцах играет...»

Спальник тут с полатей скок —
И со всех обеих ног

Во дворец к царю пустился
И как раз к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!»
— «Говори, да правду только,
И не ври, смотри, нисколько!» —
Царь с кровати закричал.
Хитрый спальник отвечал:
«Мы сегодня в кухне были,
За твое здоровье пили,
А один из дворских слуг
Нас забавил сказкой вслух;
В этой сказке говорится
О прекрасной Царь-девице.
Вот твой царский стремянной
Поклялся твоей брадой,
Что он знает эту птицу —
Так он нáзвал Царь-девицу, —
И ее, изволишь знать,
Похваляется достать».
Спальник стукнул об пол снова.
«Гей, позвать мне стремяннова!» —
Царь посыльным закричал.
Спальник тут за печку стал;
А посыльные дворяна
Побежали по Ивана,
В крепком сне его нашли
И в рубашке привели.

Царь так начал речь: «Послушай,
На тебя донос, Ванюша.
Говорят, что вот сейчас
Похвалялся ты для нас
Отыскать другую птицу,
Сиречь молвить, Царь-девицу...»
— «Что ты, что ты, бог с тобой! —
Начал царский стремянной. —

Чай, спросонков, я толкую,
Штуку выкинул такую.
Да хитри себе как хошь,
А меня не проведешь».
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. — Но смотри,
Если ты недели в три
Не достанешь Царь-девицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правёж — в решетку — на кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек. —
Аль, мой милый, занемог?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал. —
Царь велит в свою светлицу
Мне достать, слышь, Царь-девицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты к царю теперь поди
И скажи: «Ведь для поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —

Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья».

Вот Иван к царю идет
И такую речь ведет:
«Для царевниной поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья».
— «Вот давно бы так, чем нет», —
Царь с кровати дал ответ
И велел, чтобы дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей, хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял ширинки и шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья,
И сластей для прохлажденья;
Всё в мешок дорожный склал
И веревкой завязал,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток
По тоё ли Царь-девицу.

Едут целую седмицу,
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Вот дорога к окияну,

И на нем-то круглый год
Та красавица живет;
Два раза она лишь сходит
С окияна и приводит
Долгий день на землю к нам.
Вот увидишь завтра сам».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает к окияну,
На котором белый вал
Одинешенек гулял.
Тут Иван с конька слезает,
А конек ему вещает:
«Ну, раскидывай шатер,
На ширинку ставь прибор
Из заморского варенья
И сластей для прохлажденья.
Сам ложися за шатром
Да смекай себе умом.
Видишь, шлюпка вон мелькает...
То царевна подплывает.
Пусть в шатер она войдет,
Пусть покушает, попьет;
Вот как в гусли заиграет —
Знай, уж время наступает.
Ты тотчас в шатер вбегай,
Ту царевну сохватай
И держи ее сильнее,
Да зови меня скорее.
Я на первый твой приказ
Прибегу к тебе как раз,
И поедем... Да смотри же,
Ты гляди за ней поближе,
Если ж ты ее проспишь,
Так беды не избежишь».
Тут конек из глаз сокрылся,
За шатер Иван забился
И давай диру вертеть,
Чтоб царевну подсмотреть.

Ясный полдень наступает,
Царь-девица подплывает,

Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор.
«Хм! Так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится, —
Рассуждает стремянной, —
Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то, и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму».
Тут царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иван, не зная как,
Прикорнулся на кулак
И под голос тихий, стройный
Засыпает преспокойно.

Запад тихо догорал,
Вдруг конек ⟨над⟩ ним заржал
И, толкнув его копытом
Крикнул голосом сердитым:
«Спи любезный, до звезды!
Высыпай себе беды,
Не меня ведь вздернут на кол!»
Тут Иванушка заплакал
И, рыдаючи, просил,
Чтоб конек его простил:
«Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж спать не стану».
— «Ну, уж бог тебя простит! —
Горбунок ему кричит. —
Всё поправим, может статься,
Только, чур, не засыпаться;
Завтра, рано поутру,
К златошвейному шатру
Приплывет опять девица
Меду сладкого напиться.

Если ж снова ты заснешь,
Головы уж не снесешь».
Тут конек опять сокрылся;
А Иван сбирать пустился
Острых камней и гвоздей
От разбитых кораблей
Для того, чтоб уколоться,
Если вновь ему вздремнется.

На другой день, поутру,
К златошвейному шатру
Царь-девица подплывает,
Шлюпку на берег бросает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор...
Вот царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иванушке опять
Захотелося поспать.
«Нет, постой же ты, дрянная! —
Говорит Иван, вставая. —
Ты вдругорядь не уйдешь
И меня не проведешь».
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает...
«Ой, беги, конек, беги!
Горбунок мой, помоги!»
Вмиг конек к нему явился.
«Ай, хозяин, отличился!
Ну, садись же поскорей
Да держи ее плотней!»

Вот столицы достигает.
Царь к царевне выбегает,
За белы руки берет,
Во дворец ее ведет
И садит за стол дубовый
И под занавес шелковый,
В глазки с нежностью глядит,
Сладки речи говорит:
«Бесподобная девица!
Согласися быть царица!

Я тебя едва узрел —
Сильной страстью воскипел.
Соколины твои очи
Не дадут мне спать средь ночи
И во время бела дня
Ох! измучают меня.
Молви ласковое слово!
Всё для свадьбы уж готово;
Завтра ж утром, светик мой,
Обвенчаемся с тобой
И начнем жить припевая».
А царевна молодая,
Ничего не говоря,
Отвернулась от царя.
Царь нисколько не сердился,
Но сильней еще влюбился;
На колен пред нею стал,
Ручки нежно пожимал
И балясы начал снова:
«Молви ласковое слово!
Чем тебя я огорчил?
Али тем, что полюбил?
О, судьба моя плачевна!»
Говорит ему царевна:
«Если хочешь взять меня,
То доставь ты мне в три дня
Перстень мой из окияна!»
— «Гей! Позвать ко мне Ивана!» —
Царь поспешно закричал
И чуть сам не побежал.

Вот Иван к царю явился,
Царь к нему оборотился
И сказал ему: «Иван!
Поезжай на окиян;
В окияне том хранится
Перстень, слышь ты, Царь-девицы.
Коль достанешь мне его,
Задарю тебя всего».
— «Я и с первой-то дороги
Волочу насилу ноги —
Ты опять на окиян!» —

Говорит царю Иван.
«Как же, плут, не торопиться:
Видишь, я хочу жениться, —
Царь со гневом закричал
И ногами застучал. —
У меня не отпирайся,
А скорее отправляйся!»
Тут Иван хотел идти.
«Эй, послушай! По пути, —
Говорит ему царица, —
Заезжай ты поклониться
В изумрудный терем мой
Да скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик свой ясный от меня?
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?
Не забудь же!» — «Помнить буду,
Если только не забуду;
Да ведь надо же узнать,
Кто те братец, кто те мать,
Чтоб в родне-то нам не сбиться».
Говорит ему царица:
«Месяц — мать мне, Солнце — брат».
— «Да смотри, в три дня назад!» —
Царь-жених к тому прибавил.
Тут Иван царя оставил
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил?» —
Говорит ему конек.
«Помоги мне, горбунок!
Видишь, вздумал царь жениться,
Знашь, на тоненькой царице,
Так и шлет на окиян, —
Говорит коньку Иван, —

Дал мне сроку три дня только;
Тут попробовать изволь-ка
Перстень дьявольский достать!
Да велела заезжать
Эта тонкая царица
Где-то в терем поклониться
Солнцу, Месяцу, притом
И спрошать кое об чем...»
Тут конек: «Сказать по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты теперя спать поди;
А назавтра, утром рано,
Мы поедем к окияну».

На другой день наш Иван,
Взяв три луковки в карман,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся
И поехал в дальний путь...
Дайте, братцы, отдохнуть!

ЧАСТЬ 3

Доселева Макар огороды копал,
А нынече Макар в воеводы попал.

Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!
Вышли кони со двора;
Вот крестьяне их поймали
Да покрепче привязали.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу;
Как во трубушку играет,
Православных потешает:
«Эй, послушай, люд честной!
Жили-были муж с женой;
Муж-то примется за шутки,
А жена за прибаутки,
И пойдет у них тут пир,
Что на весь крещеный мир!»
Это присказка ведется,
Сказка пóслее начнется.
Как у наших у ворот
Муха песенку поет:
«Что дадите мне за вестку?
Бьет свекровь свою невестку:
Посадила на шесток,
Привязала за шнурок,
Ручки к ножкам притянула,
Ножку правую разула:
„Не ходи ты по зарям!
Не кажися молодцам!“»

Это присказка велася,
Вот и сказка началася.

Ну-с, так едет наш Иван
За кольцом на окиян.
Горбунок летит, как ветер,
И в почин на первый вечер
Верст сто тысяч отмахал
И нигде не отдыхал.

Подъезжая к окияну,
Говорит конек Ивану:
«Ну, Иванушка, смотри,
Вот минутки через три
Мы приедем на поляну —
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо рыба-кит;
Десять лет уж он страдает,
А доселева не знает,
Чем прощенье получить;
Он учнет тебя просить,
Чтоб ты в Солнцевом селенье
Попросил ему прощенье:
Ты исполнить обещай.
Да смотри ж, не забывай!»
Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на гу́бе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.

Чудо-юдо рыба-кит
Так проезжим говорит,
Рот широкий отворяя,
Тяжко, горько воздыхая:
«Путь-дорога, господа!
Вы откуда и куда?»
— «Мы послы от Царь-девицы,
Едем оба из столицы, —
Говорит киту конек, —
К Солнцу прямо на восток,
Во хоромы золотые».
— «Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у Солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть
И за кои прегрешенья
Я терплю беды-мученья?»
— «Ладно, ладно, рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
— «Будь отец мне милосердный!
Вишь, как мучуся я, бедный!
Десять лет уж тут лежу...
Я и сам те услужу!..» —
Кит Ивана умоляет,
Сам же горько воздыхает.
«Ладно, ладно, рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
Тут конек под ним забился,
Прыг на берег и пустился,
Только видно, как песок
Вьется вихорем у ног.

Едут близко ли, далёко,
Едут низко ли, высоко
И увидели ль кого —
Я не знаю ничего.
Скоро сказка говорится,
Дело мешкотно творится.
Только, братцы, я узнал,
Что конек туда вбежал,
Где (я слышал стороною)
Небо сходится с землею,

Где крестьянки лен прядут,
Прялки на небо кладут.

Тут Иван с землей простился
И на небе очутился,
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
«Эко диво! Эко диво!
Наше царство хоть красиво, —
Говорит коньку Иван
Средь лазоревых полян, —
А как с небом-то сравнится,
Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. Ведь она
И черна-то и грязна;
Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..
Посмотри-ка, горбунок,
Видишь, вон где, на восток,
Словно светится зарница...
Чай, небесная светлица...
Что-то больно высока!» —
Так спросил Иван конька.
«Это терем Царь-девицы,
Нашей будущей царицы, —
Горбунок ему кричит, —
По ночам здесь Солнце спит,
А полуденной порою
Месяц входит для покою».

Подъезжают; у ворот
Из столбов хрустальный свод:
Все столбы те завитые
Хитро в змейки золотые,
На верхушках три звезды,
Вокруг терема сады,
На серебряных там ветках
В раззолоченных во клетках
Птицы райские живут,
Песни царские поют.

А ведь терем с теремами
Будто город с деревнями;
А на тереме — из звезд
Православный русский крест.

Вот конек во двор въезжает;
Наш Иван с него слезает,
В терем к Месяцу идет
И такую речь ведет:
«Здравствуй, Месяц Месяцович!
Я — Иванушка Петрович! —
Из далеких я сторон
И привез тебе поклон».
— «Сядь, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
И поведай мне вину
В нашу светлую страну
Твоего с земли прихода;
Из какого ты народа,
Как попал ты в этот край, —
Всё скажи мне, не утай».
— «Я с земли пришел Землянской,
Из страны ведь христианской, —
Говорит, садясь, Иван, —
Переехал окиян
С порученьем от царицы —
В светлый терем поклониться
И сказать вот так, постой:
«Ты скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик какой-то от меня
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?»
Так, кажися? Мастерица
Говорить краснó царица;
Не припомнишь всё сполна,
Что сказала мне она».
— «А какая то царица?»

— «Это, знаешь, Царь-девица».
— «Царь-девица? .. Так она,
Что ль, тобой увезена?» —
Вскрикнул Месяц Месяцович.
А Иванушка Петрович
Говорит: «Известно, мной!
Вишь, я царский стремянной;
Ну, так царь меня отправил,
Чтобы я ее доставил
В три недели во дворец;
А не то меня отец
Посадить грозился на кол».
Месяц с радости заплакал,
Ну Ивана обнимать,
Целовать и миловать.
«Ах, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
Ты принес такую весть,
Что не знаю, чем и счесть!
А уж мы как горевали,
Что царевну потеряли! ..
Оттого-то, видишь, я
По три ночи, по три дня
В темном облаке ходила,
Всё грустила да грустила,
Трое суток не спала,
Крошки хлеба не брала.
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный,
Луч свой жаркий погасил,
Миру божью не светил:
Всё грустил, вишь, по сестрице,
Той ли красной Царь-девице.
Что, здорова ли она?
Не грустна ли, не больна?»
— «Всем бы, кажется, красотка,
Да у ней, кажись, сухотка:
Ну, как спичка, слышь, тонка.
Чай, в обхват-то три вершка;
Вот как замуж-то поспеет,
Так небось и потолстеет:
Царь, слышь, женится на ней».

Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!
Вздумал в семьдесят жениться
На молоденькой девице!
Да стою я крепко в том —
Просидит он женихом!
Вишь, что старый хрен затеял:
Хочет жать там, где не сеял!
Полно, лаком больно стал!»
Тут Иван опять сказал:
«Есть еще к тебе прошенье,
То о китовом прощенье...
Есть, вишь, море; чудо-кит
Поперек его лежит:
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты...
Он, бедняк, меня прошал,
Чтобы я тебя спрошал:
Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?
И на что он тут лежит?»
Месяц ясный говорит.
«Он за то несет мученье,
Что без божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет бог с него невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».

Тут Иванушка поднялся,
С светлым Месяцем прощался,
Крепко шею обнимал,
Трижды в щеки целовал.
«Ну, Иванушка Петрович, —
Молвил Месяц Месяцович, —
Благодарствую тебя
За сынка и за себя.
Отнеси благословенье
Нашей дочке в утешенье
И скажи моей родной:

«Мать твоя всегда с тобой;
Полно плакать и крушиться:
Скоро грусть твоя решится, —
И не старый, с бородой,
А красавец молодой
Поведет тебя к налою».
Ну, прощай же! Бог с тобою!»
Поклонившись, как умел,
На конька Иван тут сел,
Свистнул, будто витязь знатный,
И пустился в путь обратный.

На другой день наш Иван
Вновь пришел на окиян.
Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо рыба-кит
Так, вздохнувши, говорит:
«Что, отцы, мое прошенье?
Получу ль когда прощенье?»
— «Погоди ты, рыба-кит!» —
Тут конек ему кричит.

Вот в село он прибегает,
Мужиков к себе сзывает,
Черной гривкою трясет
И такую речь ведет:
«Эй, послушайте, миряне,
Православны христиане!
Коль не хочет кто из вас
К водяному сесть в приказ,
Убирайся вмиг отсюда.
Здесь тотчас случится чудо:
Море сильно закипит,
Повернется рыба-кит.. »
Тут крестьяне и миряне,
Православны христиане,
Закричали: «Быть бедам!»
И пустились по домам.
Все телеги собирали;
В них, не мешкая, поклали

Всё, что было живота,
И оставили кита.
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шел Мамай войной!

Тут конек на хвост вбегает,
К перьям близко прилегает
И что мочи есть кричит:
«Чудо-юдо рыба-кит!
Оттого твои мученья,
Что без божия веленья
Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».
И, окончив речь такую
Закусил узду стальную,
Понатужился — и вмиг
На далекий берег прыг.

Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами.

Тут поднялся шум такой,
Что проснулся царь морской:
В пушки медные палили,
В трубы кованы трубили;
Белый парус поднялся,
Флаг на мачте развился;
Поп с причетом всем служебным
Пел на палубе молебны;
А гребцов веселый ряд
Грянул песню наподхват:

«Как по моречку, по морю,
По широкому раздолью,
Что по самый край земли,
Выбегают корабли...»

Волны моря заклубились,
Корабли из глаз сокрылись.
Чудо-юдо рыба-кит
Громким голосом кричит,
Рот широкий отворяя,
Плесом волны разбивая:
«Чем вам, други, услужить?
Чем за службу наградить?
Надо ль раковин цветистых?
Надо ль рыбок золотистых?
Надо ль крупных жемчугов?
Всё достать для вас готов!»
— «Нет, кит-рыба, нам в награду
Ничего того не надо, —
Говорит ему Иван, —
Лучше перстень нам достань —
Перстень, знаешь, Царь-девицы,
Нашей будущей царицы».
— «Ладно, ладно! Для дружка
И сережку из ушка!
Отыщу я до зарницы
Перстень красной Царь-девицы», —
Кит Ивану отвечал
И, как ключ, на дно упал.
Вот он плесом ударяет,
Громким голосом сзывает
Осетриный весь народ
И такую речь ведет:
«Вы достаньте до зарницы
Перстень красной Царь-девицы,
Скрытый в ящичке на дне.
Кто его доставит мне,
Награжу того я чином:
Будет думным дворянином.
Если ж умный мой приказ
Не исполните... я вас!»

Осетры тут поклонились
И в порядке удалились.

Через несколько часов
Двое белых осетров
К киту медленно подплыли
И смиренно говорили:
«Царь великий! Не гневись!
Мы всё море уж, кажись,
Исходили и изрыли,
Но и знаку не открыли.
Только ерш один из нас
Совершил бы твой приказ:
Он по всем морям гуляет,
Так уж, верно, перстень знает;
Но его, как бы назло,
Уж куда-то унесло».
— «Отыскать его в минуту
И послать в мою каюту!» —
Кит сердито закричал
И усами закачал.

Осетры тут поклонились,
В земский суд бежать пустились
И велели в тот же час
От кита писать указ,
Чтоб гонцов скорей послали
И ерша того поймали.
Лещ, услыша сей приказ,
Именной писал указ;
Сом (советником он звался)
Под указом подписался;
Черный рак указ сложил
И печати приложил.
Двух дельфинов тут призвали
И, отдав указ, сказали,
Чтоб от имени царя
Обежали все моря
И того ерша-гуляку,
Крикуна и забияку,
Где бы ни было, нашли,
К государю привели.

Тут дельфины поклонились
И ерша искать пустились.

Ищут час они в морях,
Ищут час они в реках,
Все озера исходили,
Все проливы переплыли,
Не могли ерша сыскать
И вернулися назад,
Чуть не плача от печали...

Вдруг дельфины услыхали
Где-то в маленьком пруде
Крик неслыханный в воде.
В пруд дельфины завернули
И на дно его нырнули, —
Глядь: в пруде, под камышом,
Ерш дерется с карасем.
«Смирно! Черти б вас побрали!
Вишь, содом какой подняли,
Словно важные бойцы!» —
Закричали им гонцы.
«Ну а вам какое дело? —
Ерш кричит дельфинам смело. —
Я шутить ведь не люблю,
Разом всех переколю!»
— «Ох ты, вечная гуляка,
И крикун, и забияка!
Всё бы, дрянь, тебе гулять,
Всё бы драться да кричать.
Дома — нет ведь, не сидится!..
Ну, да что с тобой рядиться, —
Вот тебе царёв указ,
Чтоб ты плыл к нему тотчас».
Тут проказника дельфины
Подхватили за щетины
И отправились назад.
Ерш ну рваться и кричать:
«Будьте милосливы, братцы!
Дайте чуточку подраться.
Распроклятый тот карась

Поносил меня вчерась
При честно́м при всем собранье
Неподобной разной бранью...»
Долго ерш еще кричал,
Наконец и замолчал;
А проказника дельфины
Всё тащили за щетины,
Ничего не говоря,
И явились пред царя.

«Что ты долго не являлся?
Где ты, вражий сын, шатался?» —
Кит со гневом закричал.
На колени ерш упал,
И, признавшись в преступленье,
Он молился о прощенье.
«Ну, уж бог тебя простит! —
Кит державный говорит. —
Но за то твое прощенье
Ты исполни повеленье».
— «Рад стараться, чудо-кит!» —
На коленях ерш пищит.
«Ты по всем морям гуляешь,
Так уж, верно, перстень знаешь
Царь-девицы?» — «Как не знать!
Можем разом отыскать».
— «Так ступай же поскорее
Да сыщи его живее!»

Тут, отдав царю поклон,
Ерш пошел, согнувшись, вон,
С царской дворней побранился,
За плотвой поволочился
И салакушкам шести
Нос разбил он на пути.
Совершив такое дело,
В омут кинулся он смело
И в подводной глубине
Вырыл ящичек на дне —
Пуд по крайней мере во сто.
«О, здесь дело-то не просто!»

И давай из всех морей
Ерш скликать к себе сельдей.

Сельди духом собралися,
Сундучок тащить взялися,
Только слышно и всего —
«У-у-у!» да «О-о-о!».
Но, сколь сильно ни кричали,
Животы лишь надорвали,
А проклятый сундучок
Не дался и на вершок.
«Настоящие селедки!
Вам кнута бы вместо водки!» —
Крикнул ерш со всех сердцов
И нырнул по осетров.

Осетры тут приплывают
И без крика подымают
Крепко ввязнувший в песок
С перстнем красный сундучок.
«Ну, ребятушки, смотрите,
Вы к царю теперь плывите,
Я ж пойду теперь ко дну
Да немножко отдохну:
Что-то сон одолевает,
Так глаза вот и смыкает...»
Осетры к царю плывут,
Ерш-гуляка прямо в пруд
(Из которого дельфины
Утащили за щетины).
Чай, додраться с карасем, —
Я не ведаю о том.
Но теперь мы с ним простимся
И к Ивану возвратимся.

Тихо море-окиян.
На песке сидит Иван,
Ждет кита из синя моря
И мурлыкает от горя;
Повалившись на песок,
Дремлет верный горбунок.

Время к вечеру клонилось;
Вот уж солнышко спустилось;
Тихим пламенем горя,
Развернулася заря.
А кита не тут-то было.
«Чтоб те, вора, задавило!
Вишь, какой морской шайтан! —
Говорит себе Иван. —
Обещался до зарницы
Вынесть перстень Царь-девицы,
А доселе не сыскал,
Окаянный зубоскал!
А уж солнышко-то село,
И...» Тут море закипело,
Появился чудо-кит
И к Ивану говорит:
«За твое благодеянье
Я исполнил обещанье».
С этим словом сундучок
Брякнул плотно на песок,
Только берег закачался.
«Ну, теперь я расквитался.
Если ж вновь принужусь я,
Позови опять меня;
Твоего благодеянья
Не забыть мне... До свиданья!»
Тут кит-чудо замолчал
И, всплеснув, на дно упал.

Горбунок-конек проснулся,
Встал на лапки, отряхнулся,
На Иванушку взглянул
И четырежды прыгнул:
«Ай да Кит Китович! Славно!
Долг свой выплатил исправно!
Ну, спасибо, рыба-кит! —
Горбунок-конек кричит. —
Что ж, хозяин, одевайся,
В путь-дорожку отправляйся;
Три денька ведь уж прошло:
Завтра срочное число.
Чай, старик уж умирает».

Тут Ванюша отвечает:
«Рад бы радостью поднять,
Да ведь силы не занять!
Сундучишко больно плотен,
Чай, чертей в него пять сотен
Кит проклятый насажал.
Я уж трижды подымал:
Тяжесть страшная такая!»
Тут конек, не отвечая,
Поднял ящичек ногой,
Будто камышек какой,
И взмахнул к себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее!
Помни, завтра минет срок,
А обратный путь далек».

Стал четвертый день зориться.
Наш Иван уже в столице.
Царь с крыльца к нему бежит:
«Что кольцо мое?» — кричит.
Тут Иван с конька слезает
И преважно отвечает:
«Вот тебе и сундучок!
Да вели-ка скликать полк:
Сундучишко мал хоть на́ вид,
Да и дьявола задавит».
Царь тотчас стрельцов позвал
И немедля приказал
Сундучок отнесть в светлицу,
Сам пошел по Царь-девицу.
«Перстень твой, душа, найдён, —
Сладкогласно молвил он, —
И теперь, примолвить снова,
Нет препятства никакого
Завтра утром, светик мой,
Обвенчаться мне с тобой.
Но не хочешь ли, дружочек,
Свой увидеть перстенечек?
Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит:
«Знаю, знаю! Но, признаться,
Нам нельзя еще венчаться».

— «Отчего же, светик мой?
Я люблю тебя душой,
Мне, прости ты мою смелость,
Страх жениться захотелось.
Если ж ты... то я умру
Завтра ж с горя поутру.
Сжалься, матушка-царица!»
Говорит ему девица:
«Но взгляни-ка, ты ведь сед,
Мне пятнадцать только лет:
Как же можно нам венчаться?
Все цари начнут смеяться,
Дед-то, скажут, внуку взял!»
Царь со гневом закричал:
«Пусть-ка только засмеются —
У меня как раз свернутся:
Все их царства полоню!
Весь их род искореню!»
— «Пусть не станут и смеяться,
Всё не можно нам венчаться, —
Не растут зимой цветы:
Я красавица, а ты?..
Чем ты можешь похвалиться?» —
Говорит ему девица.
«Я хоть стар, да ⟨я⟩ удал! —
Царь царице отвечал. —
Как немножко приберуся,
Хоть кому так покажуся
Разудалым молодцом.
Ну, да что нам нужды в том?
Лишь бы только нам жениться».
Говорит ему девица:
«А такая в том нужда,
Что не выйду никогда
За дурного, за седого,
За беззубого такого!»
Царь в затылке почесал
И, нахмуряся, сказал:
«Что ж мне делать-то, царица?
Страх как хочется жениться;
Ты же, ровно на беду:

Не пойду да не пойду!»
— «Не пойду я за седова, —
Царь-девица молвит снова. —
Стань, как прежде, молодец,
Я тотчас же под венец».
— «Вспомни, матушка царица,
Ведь нельзя переродиться;
Чудо бог один творит».
Царь-девица говорит:
«Коль себя не пожалеешь,
Ты опять помолодеешь.
Слушай: завтра на заре
На широком на дворе
Должен челядь ты заставить
Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться —
Ты без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной,
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!»

Царь не вымолвил ни слова,
Кликнул тотчас стремяннова.
«Что, опять на окиян? —
Говорит царю Иван. —
Нет уж, дудки, ваша милость!
Уж и то во мне всё сбилось.
Не поеду ни за что!»
— «Нет, Иванушка, не то.
Завтра я хочу заставить
На дворе котлы поставить
И костры под них сложить.
Первый думаю налить

До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Ты же должен постараться,
Пробы ради, искупаться
В этих трех больших котлах,
В молоке и в двух водах».
— «Вишь, откуда подъезжает! —
Речь Иван тут начинает. —
Шпарят только поросят,
Да индюшек, да цыплят;
Я ведь, глянь, не поросенок,
Не индюшка, не цыпленок.
Вот в холодной, так оно
Искупаться бы можнó,
А подваривать как станешь,
Так меня и не заманишь.
Полно, царь, хитрить-мудрить
Да Ивана проводить!»
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. — Но смотри!
Если ты в рассвет зари
Не исполнишь повеленье, —
Я отдам тебя в мученье,
Прикажу тебя пытать,
По кусочкам разрывать.
Вон отсюда, бóлесть злая!»
Тут Иванушка, рыдая,
Поплелся на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек. —
Чай, наш старый женишок
Снова выкинул затею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал. —
Царь вконец меня сбывает;

Сам подумай, заставляет
Искупаться мне в котлах,
В молоке и в двух водах:
Как в одной воде студеной,
А в другой воде вареной,
Молоко, слышь, кипяток».
Говорит ему конек:
«Вот уж служба, так уж служба!
Тут нужна моя вся дружба.
Как же к слову не сказать:
Лучше б нам пера не брать;
От него-то, от злодея,
Столько бед тебе на шею...
Ну, не плачь же, бог с тобой!
Сладим как-нибудь с бедой.
И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину.
Слушай: завтра на заре,
В те поры, как на дворе
Ты разденешься, как должно,
Ты скажи царю: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать,
Чтоб впоследни с ним проститься».
Царь на это согласится.
Вот как я хвостом махну,
В те котлы мордóй макну,
На тебя два раза прысну,
Громким посвистом присвистну,
Ты, смотри же, не зевай:
В молоко сперва ныряй,
Тут в котел с водой вареной,
А оттудова в студеный.
А теперича молись
Да спокойно спать ложись».

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Эй, хозяин, полно спать!
Время службу исполнять».
Тут Ванюша почесался,
Потянулся и поднялся,

Помолился на забор
И пошел к царю во двор.

Там котлы уже кипели;
Подле них рядком сидели
Кучера, и повара,
И служители двора,
Дров усердно прибавляли,
Об Иване толковали
Втихомолку меж собой
И смеялися порой.

Вот и двери растворились,
Царь с царицей появились
И готовились с крыльца
Посмотреть на удальца.
«Ну, Ванюша, раздевайся
И в котлах, брат, покупайся!» —
Царь Ивану закричал.
Тут Иван одежду снял,
Ничего не отвечая.
А царица молодая,
Чтоб не видеть наготу,
Завернулася в фату.
Вот Иван к котлам поднялся,
Глянул в них — и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, стал? —
Царь опять ему вскричал. —
Исполняй-ка, брат, что должно!»
Говорит Иван: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать?
Я впоследни б с ним простился».
Царь, подумав, согласился
И изволил приказать
Горбунка к нему послать.
Тут слуга конька приводит
И к сторонке сам отходит.

Вот конек хвостом махнул,
В те котлы мордóй макнул,

На Ивана дважды прыснул,
Громким посвистом присвистнул.
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
Вот он в платье нарядился,
Царь-девице поклонился,
Осмотрелся, подбодрясь,
С важным видом, будто князь.

«Эко диво! — все кричали. —
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы льзя похорошеть!»

Царь велел себя раздеть,
Два разá перекрестился,
Бух в котел — и там сварился!

Царь-девица тут встает,
Знак к молчанью подает,
Покрывало поднимает
И к прислужникам вещает:
«Царь велел вам долго жить!
Я хочу царицей быть.
Люба ль я вам? Отвечайте!
Если люба, то признайте
Володетелем всего
И супруга моего!»
Тут царица замолчала,
На Ивана показала.

«Люба, люба! — все кричат. —
За тебя хоть в самый ад!
Твоего ради талана
Признаем царя Ивана!»

Царь царицу тут берет,
В церковь божию ведет,

И с невестой молодою
Он обходит вкруг налою.

Пушки с крепости палят;
В трубы кованы трубят;
Все подвалы отворяют,
Бочки с фряжским выставляют,
И, напившися, народ
Что есть мочушки дерет:
«Здравствуй, царь наш со царицей!
С распрекрасной Царь-девицей!»

Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой,
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями.
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало.

1834, между 1843 и 1851

СТИХОТВОРЕНИЯ

2. МОНОЛОГ СВЯТОПОЛКА ОКАЯННОГО

(Святополк стоит на берегу волнующегося Дуная)

Шуми, Дунай, шуми во мраке непогоды!
Приятен для меня сей страшный плеск валов;
Люблю смотреть твои пенящиеся воды
И слышать стон глухой угрюмых берегов.
При блеске молнии — душа моя светлеет,
И месть кровавая — при треске грома спит,
Мученье совести в душе моей слабеет,
А властолюбие — сей идол мой! — молчит.
Волненье бурное обманчивой стихии,
Дуная шумного величественный вид
Мне ясно говорит о милой мне России,
О славном Киеве мне ясно говорит.
Я вижу пред собой славян непобедимых,
С их дикой храбростью, с их твердою душой;
Я слышу голоса — то звук речей родимых, —
И терем княжеский стоит передо мной!..
Но что мне слышится? .. Кому дают обеты:
«До гроба верности своей не изменить»? ..
Да будут прокляты презренные клевреты!
Да будет проклят тот, кто мог меня лишить
Престола русского! Кто дерзкою рукою
Сорвал с главы моей наследственный венец;
Кто отнял скипетр мой, врученный мне судьбою...
Ты будешь неотмщен, несчастный мой отец!
Твой сын — не русский князь... Изгнанник он презренный,

Оставленный от всех, ничтожный, жалкий пес,
Пришлец чужой земли, проклятьем отягченный
И милосердием отвергнутый небес!
О! Если бы я мог, я б собственной рукою
Злодея моего на части разорвал,
Втоптал бы в прах его безжалостной ногою
И прах бы по полю с проклятьем разметал...
Молчи, молчи, Дунай! Теперь твой шум сердитый
Ничто пред бурею, которая кипит
В душе преступника, спокойствием забытой...
Она свирепствует — пусть всё теперь молчит!

Начало 1830-х годов

3. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА

«Послушай совета Свенельда младого
И шумным Днепром ты, о князь, не ходи;
Не верь обещаньям коварного грека:
Не может быть другом отчаянный враг.

Теперь для похода удобное время:
Днепровские воды окованы льдом,
В пустынях бушуют славянские вьюги
И снегом пушистым твой след занесут».

Так князю-герою Свенельд-воевода,
Главу преклоняя пред ним, говорил.
Глаза Святослава огнем запылали,
И, стиснув во длани свой меч, он сказал:

«Не робкую силу правитель вселенной —
Всесильный Бельбог — в Святослава вложил;
Не знает он страха и с верной дружиной
От края земли до другого пройдет.

Не прежде, как стихнут славянские вьюги
И Днепр беспокойный в брегах закипит,
Сын Ольги велит воеводе Свенельду
Свой княжеский стяг пред полком развернуть».

Монологъ

Святополка Окаяннаго.

(Святополкъ стоитъ на берегу волную-
щагося Дуная)

Шуми, Дунай, шуми во мракѣ непогоды!
Пріятенъ для меня сей страшный плескъ валовъ;
Люблю смотрѣть твои пѣнящіяся воды
И слышать стонъ глухой угрюмыхъ береговъ
При блескѣ молніи — душа моя свѣтлѣетъ,
И месть кровавая при трескѣ грома спитъ;
Мученье совѣсти въ душѣ моей слабѣетъ,
А властолюбіе, — сей идолъ мой! — молчитъ.
Волненье бурное обманчивой стихіи
Дуная шумнаго величественный видъ, —
Мнѣ ясно говоритъ о милой мнѣ Россіи,
О славномъ Кіевѣ — мнѣ ясно говоритъ.
Я вижу предъ собой Славянъ непобѣдимыхъ
Въ ихъ дикой храбрости, съ ихъ твердою душой;
Я слышу голоса, то звукъ рѣчей родимыхъ,
И теремъ Княжескій стоитъ передо мной!...
Но что мнѣ слышится?.. Кому даютъ обѣты:
До гроба вѣрности своей не измѣнить?...
Да будутъ прокляты презрѣнные клевреты!
Да будетъ проклятъ тотъ, что могъ меня лишить
Престола Русскаго! кто дерзкою рукою
Сорвалъ съ главы моей наслѣдственный вѣнецъ
Кто отнялъ скипетръ мой, врученный мнѣ судьбою...

Вот стихнули вьюги, и Днепр неспокойный
О мшистые скалы волной загремел.
«На родину, други! В славянскую землю!» —
С улыбкой веселой сказал Святослав.

И с шумным весельем вскочили славяне
На лодки и плещут днепровской волной.
Меж тем у порогов наемники греков
Грозу-Святослава с оружием ждут.

Вот по́дплыл бесстрашный к порогам
днепровским
И был отовсюду врагом окружен.
«За мною, дружина! Победа иль гибель!» —
Свой меч обнажая, вскричал Святослав.

И с жаром героя он в бой устремился;
И кровь от обеих сторон полилась;
И бились отважно славяне с врагами;
И пал Святослав под мечами врагов.

И князю-герою главу отрубили,
И череп стянули железным кольцом...
И вот на порогах сидят печенеги,
И новая чаша обходит кругом...

Начало 1830-х годов

4. СМЕРТЬ ЕРМАКА

Сонет

Тяжелые тучи сибирское небо одели;
Порывистый ветер меж сосен угрюмых шумел;
Венчанные пеной, иртышские воды кипели;
Дождь лился рекою, и гром полуночный гремел.

Спокойно каза́ки на бреге высоком сидели,
И шум непогоды дремоту на очи навел.
Бестрепетный вождь их под сенью ветвистыя ели,
Опершись на саблю, на смелых казаков смотрел.

И злая кручина на сердце героя лежала,
Главу тяготила, горячую кровь волновала.
И ужас невольный дух бодрый вождя оковал.

Вдруг дикие крики... Казацкая кровь заструилась...
Булат Ермака засверкал — толпа расступилась —
И кто-то с утеса в кипевшие волны упал.

Начало 1830-х годов

5. ПЕСНЯ КАЗАКА

Даша милая, прости:
Нам велят в поход идти.
Позабыли турки раны,
Зашумели бусурманы.
Надо дерзких приунять,
В чистом поле погулять.
Изготовлен конь мой ратный,
Закален мой меч булатный,
И заточено мое
Неизменное копье.
С быстротою хищной птицы
Полечу я до границы;
Черным усом поведу
Бусурманам на беду;
Свистну посвистом казацким
Пред отрядом цареградским
И неверного пашу
На аркане задушу.
«Знай, турецкий забияка,
Черноморского казака!
И не суйся в спор потом
С нашим батюшкой царем».
И, потешившись с врагами,
С заслужёнными крестами
Ворочуся я домой
Вечно, Даша, жить с тобой!

Начало 1830-х годов

6. РУССКИЙ ШТЫК

Лей полнее, лей смелее
И по-русски — духом, вмиг!
Пьем за то, что всех милее,
Пьем за крепкий русский штык!

Пьем — и весело, по-братски
Прокричим обычный крик:
«Здравствуй, наш товарищ хватский!
Здравствуй, крепкий русский штык!»

Прочь с косами! Прочь с буклями!
К черту пудреный парик!
Дай нам водки с сухарями,
Дай нам крепкий русский штык!

Что нам в пудре? Что в помаде?
Русский бабиться не свык;
Мы красивы, мы в наряде,
Если с нами русский штык!

Пушки бьются до последа,
Штык кончает дело вмиг;
Там удача, там победа,
Где сверкает русский штык.

И с Суворовым штыками
Окрестили мы Рымник.
Ставь хоть горы над горами —
Проберется русский штык.

Штык не знает ретирады
И к пардонам не привык.
Враг идет просить пощады,
Лишь почует русский штык.

И на Альпах всю дорогу
Враг обставил лесом пик, —
Мы сперва к святому богу,
А потом за русский штык.

Мы пробили Апеннины,
В безднах грянул русский крик:
Чрез ущелья, чрез теснины
Пролетел наш русский штык.

Нет штыка на свете краше,
С ним не станем мы в тупик;
Всё возьмем, всё будет наше —
Был бы с нами русский штык!

1833 (?)

7. НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Светлое небо покрылось туманною ризою ночи;
Месяц сокрылся в волнистых изгибах хитона ночного;
В далеком пространстве небес затерялась зарница;
Звезды не блещут.
Поля и луга Вифлеема омыты вечерней росою;
С цветов ароматных лениво восходит в эфир дым благовонный;
Кипарисы курятся.
Тихо бегут сребровидные волны реки Иордана;
Недвижно лежат на покате стада овец мягкорунных;
Под пальмой сидят пастухи Вифлеема.

Первый пастух

Слава Седящему в вышних пределах Востока!
Не знаю, к чему, Нафанаил, а сердце мое утопает в восторге;
Как агнец в долине, как легкий олень на Ливане, как ключ Элеонский, —
Так сердце мое и бьется, и скачет.

Второй пастух

Приятно в полудни, Аггей, отдохнуть под сенью Ливанского кедра;
Приятно по долгой разлуке увидеться с близкими сердцу;
Но что я теперь ощущаю... Словами нельзя изъяснить...
Как будто бы небо небес в душе у меня поместилось;
Как будто бы в сердце носил я всезрящего бога.

Первый пастух

Друзья! воспоем Иегову,
Столь мудро создавшего землю,
Простершего небо шатром над водами;
Душисты цветы Вифлеема,
Душист аромат кипариса;
Но песни и гимны для бога душистей всех жертв
и курений.

И пастыри дружно воспели могущество бога
И чудо творений, и древние лета...
Как звуки тимпана, как светлые воды — их голоса
разливались в пространстве.
Вдруг небеса осветились, —
И новое солнце, звезда Вифлеема, раздрав полуночную
ризу небес,
Явилась над мрачным вертепом,
И ангелы стройно воспели хвалебные гимны во славу
рожденного бога,
И, громко всплеснув, Иордан прокатил сребровидные
воды...

Первый пастух

Я вижу блестящую новую звезду!

Второй пастух

Я слышу хвалебные гимны!

Третий пастух

Не бог ли нисходит с Сиона?..

И вот от пределов Востока является ангел:
Криле позлащенны, эфирный хитон на раменах,
Веселье во взорах, небесная радость в улыбке,
Лучи от лица, как молнии, блещут.

Ангел

Мир приношу вам и радость, чада Адама!

Пастухи

О, кто ты, небесный посланник?.. Сиянье лица твоего
ослепляет бренные очи...
Не ты ль Моисей, из Египта изведший нас древле
В землю, кипящую млеком и медом?

Ангел

Нет, я Гавриил, предстоящий пред богом,
И послан к вам возвестить бесконечную радость.
Свершилась превечная тайна: бог во плоти днесь
явился.

Пастухи

Мессия? .. О радостный вестник, приход твой от бога!
Но где, покажи нам, небесный младенец, да можем ему
поклониться?

Ангел

Идите в вертеп Вифлеемский.
Превечное слово, его же пространство небес не вмещало,
покоится в яслях.

И ангел сокрылся!
И пастыри спешно идут с жезлами к вертепу.
Звезда Вифлеема горела над входом вертепа.
Ангелы пели: «Слава сущему в вышних! мир на земли,
благодать в человеках!»
Пастыри входят — и зрят непорочную матерь при яслях,
И бога-младенца, повитого чистой рукою Марии,
Иосифа-старца, вперившего очи в превечное слово...
И пастыри, пад, поклонились.

⟨1834⟩

8. МОЛОДОЙ ОРЕЛ

Как во поле во широком
Дуб высокий зеленел;
Как на том дубу высоком
Млад ясён орел сидел.

Тот орел ли быстрокрылый
Крылья мочные сложил
И к сырой земле уныло
Ясны очи опустил.

Как от дуба недалёко
Речка быстрая течет,

А по речке по широкой
Лебедь белая плывет.

Шею выгнув горделиво,
Хвост раскинув над водой,
Лебедь белая игриво
Струйку гонит за собой.

«Что, орел мой быстрокрылый,
Крылья мочные сложил?
Что к сырой земле уныло
Ясны очи опустил?

Аль не видишь: недалёко
Речка быстрая течет,
А по речке по широкой
Лебедь белая плывет?

Мочны ль крылья опустились?
Клёв ли крепкий ослабел?
Сильны ль когти притупились?
Взор ли ясный потемнел?

Что с тобою, быстрокрылый?
Не случилась ли беда?»
Как возговорит уныло
Млад ясён орел тогда:

«Нет, я вижу: недалёко
Речка быстрая течет,
А по речке по широкой
Лебедь белая плывет.

Мочны крылья не стареют,
Крепкий клёв не ослабел,
Сильны когти не тупеют,
Ясный взор не потемнел.

Но тоска, тоска-кручина
Сердце молодца грызет,
Опостыла мне чужбина,
Край родной меня зовет.

Там, в родном краю, приволье
По поднебесью летать,
В чистом поле, на раздолье,
Буйный ветер обгонять.

Там бураном вьются тучи;
Там потоком лес шумит;
Там дробится гром летучий
В быстром беге о гранит.

Там средь дня в выси далекой
Тучи полночью висят;
Там средь полночи глубокой
Льды зарницами горят.

Скоро ль, скоро ль я оставлю
Чужеземные краи?
Скоро ль, скоро ль я расправлю
Крылья мочные мои?

Я с знакомыми орлами
Отдохну в родных лесах,
Я взнесусь над облаками,
Я сокроюсь в небесах».

⟨1834⟩

9. СИБИРСКИЙ КАЗАК

Старинная быль

ЧАСТЬ 1

Рано утром, весной
На редут крепостной
Раз поднялся пушкарь поседелый.
Брякнул сабли кольцом,
Дернул сивым усом
И раздул он фитиль догорелый.

Он у пушки стоит,
Он на крепость глядит
Сквозь прозрачные волны тумана...
Вот мелькнул белый плат
У высоких палат
Удальца-молодца атамана.

И с веселым лицом,
Осеняся крестом,
Он над медною пушкой склонился.
Пламень брызнул струей,
Дым разлился волной —
И по крепости гул прокатился.

Вот к обедне звонят...
Казаки мигом в ряд —
И пошли в божью церковь молиться,
Да поклоном земным
Поклониться святым,
Да к честному кресту приложиться.

Но казак молодой
Не спешит за толпой,
Помолиться святым не радеет;
Он стоит, молчалив,
И ни мертв и ни жив —
Кровь в груди то кипит, то хладеет.

Вот, одетый в стихарь,
Заклепал пономарь
На высокой звоннице к достойной.
И казак задрожал —
Жгучей искрой запал
Червь укора в душе неспокойной.

Он в храм божий спешит,
Но боится вступить
И стоит одинок у порогу;
Он глядит на народ
И креста не кладет,
И не молится русскому богу.

Освещен божий храм!
И святой фимиам
Будто ризой народ одевает,
А казаки поют
Да поклоны кладут, —
Атаман с есаульством читает.

Служба кончилась. Вот —
Атаман наперед
И за ним молодцы есаулы —
Приложась к образам,
Казаки по домам
Разошлись, говоря про аулы.

А казак молодой
С непокойной душой
В церковь божию робко вступает;
К алтарю он идет,
Тихо старца зовет
И с слезами к ногам упадает.

«Мой отец, поспеши!
Тяжкий грех разреши!
Погибаю я, грешный душою».
— «Сколь бы грех ни велик, —
Говорит духовник, —
Не утай ничего предо мною».

И казак отвечал:
«Атаман приказал
Нам идти на кыргызов войною...
Мой отец, я женат!
И хоть нету ребят,
Да всё жалко расстаться с женою.

Я на бога роптал,
Я своих проклинал,
Я не шел с казаками молиться;
И, пришедши потом,
Не крестился крестом,
Не хотел к образам приложиться.

Мой отец, поспеши!
Тяжкий грех разреши!
Погибаю я, грешный душою».
— «Грех твой, чадо, велик! —
Говорит духовник. —
Омрачился ты тяжкой виною.

Но и бездну грехов
Бог очистить готов,
Прибеги лишь к нему с покаяньем.
Он — без меры любовь.
Уповай лишь, и вновь
Он оденет святым одеяньем.

Как Христов иерей
Я, по власти своей,
От грехов всех тебя разрешаю, —
И под знамем креста
Супротивных Христа
Поражай: я тебя посылаю.

Мужем будь. Не жалей
Крови грешной своей
И за братий ты жертвуй собою.
Знай, убитых вконец
Ждет нетленный венец.
Поезжай, сын мой, мир над тобою!»

И казак молодой
С облегченной душой
Божий храм, помолясь, оставляет.
Он приходит к жене,
Говорит о войне
И печальну жену утешает:

«Не тоскуй, не крушись!
Лучше богу молись,
Чтоб от смерти меня он избавил
И чтоб нас, казаков,
Сохранил от оков
И великой победой прославил.

За степьми, говорят,
Камней груды лежат
И песок при реках золотистый;
Бисеров — не бери,
Жемчугов — не вари.
А у жен дорогие мониста».

«Что мне в платьях цветных,
Что в камнях дорогих,
Когда нет тебя, мой ненаглядный?
От разлучного дня
Не утешат меня
Ни сребро, ни жемчуг перекатный.

Кто-то мне говорит:
«Муж твой будет убит!»
Вот уж по три я слышу то ночи.
Видно, мне сиротать,
Век вдовой вековать,
Не видать твои светлые очи.

Не крутить черный ус,
Не лобзать алых уст,
Не прижать ко груди белоснежной.
Твой сынок подрастет,
Тятю кликать начнет,
Что мне делать тогда, безнадежной?»

И с сердечной тоской
Тут казак молодой
Молодую жену обнимает.
«Не тоскуй, — говорит, —
Я не буду убит:
Ведь не всякий в войне погибает.

И недель через пять
Ворочуся опять
Да с добычей к тебе боевою;
Я тебя обниму,
Крепко к сердцу прижму
И у сердца тебя успокою.

Коль паду на войне,
Ты не плачь обо мне,
Не суши свои ясные очи;
Ожидай ты меня
Не средь белого дня,
Но во тьме ожидай меня ночи.

У ворот я сойду,
Тихо в хату войду
И махну посинелой рукою;
Ты не бойся меня,
Но садись на коня,
Мы поедем, друг милый, с тобою».

Тут казак замолчал,
Три свечи *засвечал,*
И сбираться он начал на битву.
Он осек три кремня,
Изготовил коня
И сточил боевой меч как бритву.

На другой день зарей
Грянул гул вестовой —
Казаки лошадей выводили.
Гул второй разнесло —
Казаки на седло,
А за третьим — на площадь спешили.

Шумно строятся в ряд,
Громко сабли гремят,
Развилося казацкое знамя;
Кони борзые бьют,
Пыль копытами вьют,
И в очах их свирепое пламя.

Вот раздался сигнал,
Пономарь заклепал,
И церковны врата отворились.
«Кивера все долой!» —
Закричал удалой
Есаул. Кивера опустились.

Тихо старцы пошли,
Образа понесли
И святую хоругвь в ополченье;
И за ними идет
Весь церковный причет,
Позади иерей в облаченье.

«Призовем бога сил!» —
Иерей возгласил,
И *всемирную славу* запели.
Он по ряду ходил,
Ополченье кропил
Освященной водою в купели.

«Род избранный, восстань!
Ополчайся на брань,
Покоряй супротивных под ногу!
Укрепит бог богов
Вас на ваших врагов;
Я вручаю вас господу богу».

И, окончив обряд,
Возвратился назад, —
И слезами глаза омрачились.
Тихо старцы пошли,
Образа унесли,
И церковны врата затворились.

Весь как пламя огня,
Атаман — на коня
И тяжелыми брякнул ножнами;
Вдруг, блестящ как стекло,
Длинный меч наголо —
И летит молодцом пред отрядом!

Вот ряды обскакал:
«С богом, дети!» — вскричал.
Казаки на седле поднялися,
Засверкали мечи —
И орлом усачи,
Как на пир, на войну понеслися.

ЧАСТЬ 2

Дни со светом идут,
Ночи с мраком бегут,
Утро вечер прохладный сменяет;
В полдень солнце горит,
В полночь месяц глядит;
Часовой по редуту гуляет.

И в полуденный зной
Золотистой волной
Озерненные зыблются нивы;
И в раздолье степей
Стадо диких коней
Вьет по ветру косматые гривы.

И в небесной выси,
Будто рати Руси,
Громоносные движутся тучи;
И, подпора небес,
Не шелохнется лес,
Не играет в степи вихрь летучий.

И молчанье кругом.
Утомленным крылом
Царь пернатых на землю слетает;
И с стесненной душой
Пешеход молодой,
Ослабевши, шаги ускоряет.

Вот громады сошлись.
Молньи в тучах зажглись —
И ударил перун быстротечный.
Опаленный кругом,
С раздробленным челом,
Рухнул кедр, великан вековечный.

И, дохнувши огнем,
Прошумели дождем
И песчаную степь наводнили.
Светлый солнечный луч
Проглянул из-за туч —
И две радуги свод расцветили.

Океан рассыпной,
Будто конь молодой,
Сребровласую шею вздымает;
Гриву в космы плетет,
Чутким ухом прядет,
Длинный хвост в три трубы завивает.

В надвоздушный предел
Царь-орел полетел
Осушиться в потоке огнистом,
И — предвестник весны —
С голубой вышины
Засверкал перерывчатым свистом.

На кургане крутом
Под истлевшим крестом
Молодая казачка сидела,
И, склоняся главой
На тополь луговой,
Она грустно на степи глядела.

Из развитой косы
В беспорядке власы
На лилейную грудь упадали,
И на бледных щеках,
Как роса на цветах,
Как жемчужины, слезы блистали.

Тихо всё. Лишь у ног
Говорил ручеек
И прозрачной волной к ней ласкался;
И с журчаньем ручья
Тихий голос ея,
Будто ласточки щебет, сливался.

ПЕСНЯ КАЗАЧКИ

Полетай, мой голубочек,
Полетай, мой сизокрылый,
Через степи, через горы,
Через темные дубровы!

Отыщи, мой голубочек,
Отыщи, мой сизокрылый,
Мою душу, мое сердце,
Моего милóва друга!

Опустись, мой голубочек,
Опустись, мой сизокрылый,
Легким перышком ко другу,
На его правую руку!

Проворкуй, мой голубочек,
Проворкуй, мой сизокрылый,
Моему милому другу
О моей тоске-кручине!

Ты лети, мой голубочек,
От восхода до заката,
Отдыхай, мой сизокрылый,
Ты во время темной ночи!

Если на небо порою
Набежит налётна тучка,
Ты сокройся, голубочек,
Под кусток частой, под ветку!

Если коршун — хищна птица —
Над тобой распустит когти,
Ты запрячься, сизокрылый,
Под навес крутой, под кровлю!

Ты скажи мне, голубочек,
Что увидел мое сердце!
Ты поведай, сизокрылый,
Что здоров мой ненаглядный!

Я за весточку любую
Накормлю тебя пшеничкой,
Я за радостну такую
Напою сытой медвяной.

Я прижму к ретиву сердцу,
Сладко, сладко поцелую,
Обвяжу твою головку
Дорогою алой лентой.

Вдруг песок полетел,
Ясный день потемнел
И гроза поднялась от восхода...
Гром — от громких речей!
Молнья — с светлых мечей!
То казаки летят из похода.

Пламень грозный в очах,
Клик победный в устах,
За спиной понавешаны вьюки.
На коне боевом
Впереди молодцом
Выезжает удача Безрукий.

И широкой копной
Вьет песок конь степной,
Рвет узду, и храпит, и бодрится.
Есаулы за ним
Пред отрядом своим,
Грозны их загорелые лица.

«Гей! мои трубачи!
Опустите мечи,
Заиграйте в трубы боевые!
С хлебом, с солью скорей
Пусть встречают гостей
И отворят врата крепостные!»

И, не медля, зараз
Атаманский приказ
Трубачи-усачи выполняют:
Боевой меч — в ножны,
И трубу со спины,
И походную песню играют.

«Гей, скорей на редут!
Наши, наши идут!» —
Закричал часовой. И в минуту —
«Наши, наши идут!» —
Крича, люди бегут
Отовсюду толпами к редуту.

Грянул в пушку пушкарь,
Зазвонил пономарь,
И широки врата заскрипели.
Из отверстых ворот
Хлынул с шумом народ
И казаки орлом налетели.

«К церкви, храбрый отряд! —
Есаулы кричат. —
Исполняйте отцовский обычай,
И к иконе святой
Вы усердной рукой
Приносите дары из добычи».

Казаки с коней в ряд,
В божью церковь спешат, —
Им навстречу причет со крестами:
Под хоругвью святой
В ризах пастырь седой
Их встречает святыми словами

Пастырь

С нами бог! С нами бог!
Он возвысил наш рог!
Укрепил он во брани десницы!

Клир

С нами бог! С нами бог!
Супостат изнемог,
Мы крепки: покоряйтесь, языцы!

Пастырь

Мышцей сильной своей
Укротил он зверей,
Он низвергнул коней, колесницы!

Клир

С нами бог! С нами бог!
Супостат изнемог,
Мы крепки: покоряйтесь, языцы!

Пастырь

Он услышал наш глас,
Он стал крепко за нас,
Он явился во блеске денницы!

Клир

С нами бог! С нами бог!
Супостат изнемог,
Мы крепки: покоряйтесь, языцы!

Пастырь

Он щиты их сломил,
Ярый огнь воздымил,
И вихрь бурный пожрал их станицы!

Клир

С нами бог! С нами бог!
Супостат изнемог,
Мы крепки: покоряйтесь, языцы!

Старец кончил. За ним,
За начальством своим
Казаки в божью церковь вступили,
И с молитвой в устах
При святых образах
Они часть из добычи сложили.

И, под гром пушкарей,
Пет владыке царей
Благодарственный гимн за спасенных;
И, под медленный звон,
Похоронный канон
Возгласили за прах убиенных.

Служба кончена. Тут
Все на площадь бегут:
Их родные, друзья ожидают.

Сын к отцу, к брату брат
С полным сердцем летят
И с слезами на грудь упадают.

Что ж казачка? Она,
Вещей грусти полна,
Ищет друга милóва очами:
Вся на площади рать,
Но его не видать,
Не видать казака меж рядами!

Не во храме ли он?
Божий храм затворен —
Вот ограду ключарь запирает!
Что ж он к ней не спешит?
Сердце рвется спросить —
Но вопрос на устах замирает.

Вдруг урядник седой
Подошел к молодой
И взглянул на нее со слезами;
Ей кольцо подает:
«Он окончил поход!» —
И поспешными скрылся шагами.

И, бледней полотна,
С тихим стоном она
Недвижима, безгласна упала.
Свет померкнул в очах,
Смерть на бледных устах,
Тихо полная грудь трепетала.

Вот с угрюмым челом
Ночь свинцовым крылом
Облекла и поля, и дубравы,
И с далеких небес
Сыплет искрами звезд,
И катит в облаках шар кровавый.

И на ложе крутом
Спит болезненным сном
Молодая казачка. Прохладой

Над ее головой
Веет ветер ночной
И дымится струей над лампадой.

Кровь горит. Грудь в огне,
И в мучительном сне
Страшный призрак, как червь, сердце гложет.
Темнота. Тишина.
И зловещего сна
Ни один звук живой не тревожит.

Вдруг она поднялась!..
Чья-то тень пронеслась
Мимо окон и в мраке сокрылась.
Вот — храпенье коня!
Вот, кольцом не звеня,
Дверь тяжелая вдруг отворилась!

Он вошел. Страшный вид!
Весь он кровью покрыт,
Страшно впали померкшие очи;
Кости в кожу вдались,
И уста запеклись.
Мрачен взор: он мрачней темной ночи!

Он близ ложа стоит,
Он ей в очи глядит,
Он манит посинелой рукою.
То казак молодой!
Он пришел в тьме ночной
Свой исполнить обет пред женою.

И она узнает,
Тихо с ложа встает
И выходит за ним молчаливо.
У ворот черный конь
Бьет копытом огонь
И трясет серебристою гривой.

Вмиг казак — в стремена.
Молодая жена
С ним, дрожа и бледнея, садится.

Закусив удила,
Как свинец, как стрела,
Конь ретивый дорогою мчится.

Вот гора. На лету
Он сравнял высоту
И несется широкой долиной!
Вот река. Чрез реку!
На могучем скаку
Он сплотил берега над пучиной.

Скачут день. Скачут два.
Ни жива ни мертва
И не смеет взглянуть на милóва.
Куда путь их лежит,
Она хочет спросить,
Но боится. Казак — ни полслова.

Наконец в день шестой,
Как ковер золотой,
Развернулися степи пред ними.
И кругом пустота!
Лишь вдали три креста
Возвышались в безбрежной пустыне.

«Вот наш кров! Вот наш дом
Под лазурным шатром! —
Вдруг промолвил казак. — Посмотри же.
Как хорош он на взгляд!
Что за звезды горят!
Что за блеск! То вдали, что же ближе?

Нас тут сто казаков,
Всё лихих молодцов.
Мы привольно живем, не стареем.
Ни печаль, ни болезнь
Нам неведомы здесь,
И житейских забот не имеем.

Мы и утром, и днем
Спим в земле крепким сном
До явленья вечерней зарницы;

Но зато при звездах
Мы гарцуем в степях
До восхода румяной денницы».

Тут казак замолчал.
Конь заржал, запрядал...
И казачка глядит в изумленье.
Степь! Средь белого дня
Ни его, ни коня;
Только что-то гудит в отдаленье.

И в степи! И одна!
Будто пытка, страшна
Одинокая смерть! Озирая
На холме насыпном
Степь горящу кругом,
Ищет тени казачка младая.

Но кругом степь пуста!
Ни травы, ни куста,
Ни оттенка в сини отдаленной.
Кругом небо горит,
Воздух душен — томит —
Что за зной на степи раскаленной!

И на жгучий песок,
Как увядший цветок,
Задыхаясь, она упадает.
И в томленье немом,
Сжавши руки крестом,
Безнадежно в степи погибает.

⟨1834⟩

10. ЖЕЛАНИЕ

Чу! вихорь пронесся по чистому полю;
Чу! крикнул орел в громовых облаках.
О, дайте мне крылья! О, дайте мне волю!
Мне тошно, мне душно в тяжелых стенах!

Расти ли нагорному кедру в теплице
И красного солнца и бурь не видать?

Дышать ли пигаргу свободно в темнице
И вихря не веять и тучи не рвать?

Ни чувству простора! Ни сердцу свободы!
Ни вольного лету могучим крылам!
Всё мрачно! Всё пусто! И юные годы,
Как цепи, влачу я по чуждым полям.

И утро заблещет, и вечер затлеет,
Но горесть могилой на сердце лежит.
А жатва на ниве душевной не зреет,
И пламень небесный бессветно горит.

О, долго ль стенать мне под тягостным гнетом?
Когда полечу я на светлый восток?
О, дайте мне волю! Орлиным полетом
Я солнца б коснулся и пламя возжег.

Я б реял в зефире, я б мчался с грозою
И крылья разливом зари позлатил;
Я жадно б упился небесной росою
И ниву богатою жатвой покрыл!

Но если бесплодно страдальца моленье,
Но если им чуждо желанье души —
Мой гений-хранитель, подай мне терпенье
Иль пламень небесный во мне потуши!

Сентябрь 1835

11. ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

Сокрылось солнце за Невою,
Роскошно розами горя...
В последний раз передо мною
Горишь ты, невская заря!
В последний раз в тоске глубокой
Я твой приветствую восход:
На небе родины далекой
Меня другое солнце ждет.
О, не скрывай, заря, так рано
Волшебный блеск твоих лучей

Во мгле вечернего тумана,
Во тьме безмесячных ночей!
О, дай насытить взор прощальный
Твоим живительным огнем,
Горящим в синеве хрустальной
Блестящим радужным венцом!
Но нет! Румяный блеск слабеет
Зари вечерней; вслед за ней
Печальный сумрак хладом веет
И тушит зарево огней.
Сквозь ткани ночи гробовые
На недоступных высотах
Мелькают искры золотые, —
И небо в огненных цветах.
И стихнул ветер в снежном поле,
И спит престольный град царя...
О, не видать тебя мне боле,
Святая невская заря!
Ты вновь оденешь запад хладный
Огнями вечера; но, ах!
Не для меня их свет отрадный
Заблещет в розовых венцах.
Не для меня! В стране далекой,
Питомец бурей и снегов,
Блуждать я буду одинокой
В глуши подоблачных лесов.
Прими последнее прощанье!..
. . . .
. . . .
. . . .
Прости и ты, о град державный,
Твердыня северных морей,
Венец отчизны православной,
Жилище пышное царей,
Петра державное творенье!
О, кто б в великую борьбу,
Кто б угадал твое рожденье,
Твою высокую судьбу?
Под шумом бурь грозы военной,
По гласу мощному Петра,
В лесах страны иноплеменной
Воздвиглась русская гора.

На ней воссел орел двуглавый,
И клик победный огласил
Поля пустынные Полтавы
И груды вражеских могил.
И вновь бедой неотвратимой
Над дерзким галлом прошумел, —
И пал во прах непобедимый,
И мир свободой воскипел!
О, сколько доблестных деяний
Вписала северная сталь
В дневник твоих воспоминаний,
В твою гранитную скрижаль!
В твоих священных храмах веют
Народной славой знамена,
И на гробах твоих светлеют
Героев русских имена.
Вот он — зиждитель твой чудесный,
Твой полунощный Прометей!
Но тот похитил огнь небесный,
А твой носил в душе своей...
Россия при дверях могилы,
Ее держал татарский сон.
Явился Петр — и в мертвы жилы
Дыханье жизни вдунул он.
Она восстала, Русь святая,
Могуща, радостна, светла,
И, юной жизнью расцветая,
Годами веки протекла!..
Зари чудесного рожденья
В тебе блеснул вначале свет;
Ты был предтечей воскресенья
И первым вестником побед!
Летами юный, ветхий славой,
Величья русского залог,
Прости, Петрополь величавый,
Невы державный полубог!
Цвети под радужным сияньем
Твоей блистательной весны
И услаждай воспоминаньем
Поэта пламенные сны!

1835

12. РУССКАЯ ПЕСНЯ

Уж не цвесть цветку в пустыне,
В клетке пташечке не петь!
Уж на горькой на полыне
Сладкой ягодке не зреть!

Ясну солнышку в ненастье
В синем небе не сиять!
Добру молодцу в несчастье
Дней веселых не видать!

Как во той ли тяжкой доле
Русы кудри разовью;
Уж как выйду ль в чисто поле
Разгулять тоску мою.

Может, ветер на долину
Грусть-злодейку разнесет;
Может, речка злу кручину
Быстрой струйкой разобьет.

Не сходить туману с моря,
Не сбежать теням с полей!
Не разбить мне люта горя,
Не разнесть тоски моей!

1835

13. СЕМЕЙСТВО РОЗ[1]

Элегия

Видали ль вы в долине сокровенной,
В тени склонившихся над озером берез,
Могильный холм — приют уединенный
Семейства мирного пустынных милых роз?
Волна прозрачная, любуясь их красою,

[1] На смерть двух девиц-сестер, которые утонули в Неве. Одна из них была уже помолвлена.

Лелеет на груди трепещущей своей,
И резвый мотылек — любимый гость полей —
Летит к ним отдохнуть полдневною порою
В сиянье радужных огней.
Вечерний ветерок, играя их кудрями,
Когда свершается торжественный закат,
Несется медленно над светлыми полями
И веет сладкий аромат.
Забытые в глуши, под ясным неба сводом,
Любимцы солнцевы — из крова своего
Они любуются блистательным восходом
И тихим шелестом приветствуют его.
Заря вечерняя, светило дня скрывая
За рубежом далеких синих гор,
Встречает их прощальный взор,
Дарит улыбкою последней, догорая.
И в час безмолвия таинственных ночей,
Родными ветвями соплетшися игриво,
Они покоятся счастливо
На лоне матери своей...
Не страшны бури им: в сени гостеприимной
Они защищены от бурь и непогод.
Затмится ли когда небес лазурный свод
Грядами тучи дымной;
Промчится ли борей сердитый по лесам,
Прольется ль молния огнистыми струями,
Отгрянет ли перун по мрачным небесам, —
Березы мирными обнимут их ветвями,
И дождь скользит по их верхам.
Счастливы розы те в беспечности невинной!
Но всех счастливее из милых роз одна:
Царица области пустынной,
Как упоительна, как ро́скошна она!
Какою негою пленительною дышит!
Каким огнем уста ее горят!
Какой с кудрей ее струится аромат,
Когда зефир главу ее колышет!
Не ей ли по ночам, в густой тени ветвей,
Когда луна течет в порфире позлащенной,
Поет столь нежно соловей,
Любовью упоенный?

Не ей ли при заре, когда восток горит,
Когда прохладою предутреннею веет,
Певцов воздушных царь и свищет и дробит,
И в страстной песни млеет?
То ей! То розе молодой!
Она задумчиво певцу любви внимает,
Склонясь прелестною главой:
И грудь волнуется, и лик ее пылает!
Не тщетно любит соловей:
Глас сладостный любви для милой розы внятен,
И счастливый певец любви и красных дней
Для сердца нежного красавицы приятен.

Но здесь ли на земле под гибнущей луной
Искать негибнущего счастья?
Кто в жизни не видал грозы над головой?
Кто, счастливый, избег от грома и ненастья
И не скорбел печальною душой?
Где тот счастливейший, кто жизни в непогоду
Умел торжествовать средь бури роковой,
Кто укрепил бессильную природу,
Не изнемог в борьбе с враждебною судьбой?
Восставшие из тленья,
Всечасно ратуя с природой и с собой,
В груди мы носим смерть и веру в провиденье.
Готовый в путь, оснащен легкий челн,
Маяк горит на пристани востока,
Ум — кормчий за рулем, и мы средь ярых волн
В необоримой власти рока!
Сначала новый путь пленяет новизной,
Приятны нам картины юной жизни,
И мы плывем с веселою душой
В родимый край отчизны!
Но длится жизни путь; наш кормчий уж устал,
Склонясь на руль, беспечно засыпает;
И жизни цвет в мечтах неясно исчезает.
А челн вперед... Вдруг бури дух восстал,
Завеса черная маяк во тьме скрывает,
О твердую скалу гремит косматый вал,
И ветер рвет бессильные ветрила.
Проснувшийся пловец спешит схватить кормило —

Но поздно! Челн бежит на ряд подводных скал,
И море челн разбитый поглотило!..
Вот наша жизнь! Блажен, кто с юных лет
От тихой пристани очей не отвращает
И с теплой верою средь горестей и бед
Всё к ней, всё к ней стремленье направляет.
Он весело плывет чрез бурный океан,
Маяк горит, в очах его светлея,
Редеет сумрачный туман,
И берег родины всё ближе и виднее...
Вот пристань... И пловец, отбросив легкий челн,
Целует тихий брег страны обетованной
И, кинув светлый взор на волны океана,
Ложится отдохнуть от плаванья и волн.

О розы милые! недолго вы блистали,
Недолго путника вы радовали взор!
Еще снега не скрыли ближних гор,
А вы уже увяли!
Где светлый ваш хранитель-ангел был,
Когда на озере громады собирались,
Когда в лесах сердитый ветр завыл
И стаи воронов с далеких гор слетались?
Зачем оставил вас? зачем своим крылом
Во время бурного движения природы
Не скрыл от бурь и непогоды,
Не отвратил ниспадший с неба гром?
. . . .
Скончалась ночь. Восток холодным пламем пышет;
В безоблачной выси скликаются орлы;
Но буря всё сильней дыханьем бурным дышит.
Огромные валы
Стадами тучными на озере пасутся;
Под бурей двух стихий могильный холм дрожит;
Древа столетние, как гибки лозы, гнутся,
И с вихрем по полям зеленый лист летит.
Дрожа от холода, с поникшими главами,
Три розы милые сплетаются ветвями.
Но тщетно всё! Час гибели пробил!
И ветер яростный тяжелыми крылами
Две розы юные безжалостно сломил!..
Исчезло всё, что сердце здесь любило,

Что путника ласкало жадный взор!
И солнце светлое, поднявшись из-за гор,
Холодный гроб красавиц осветило!

Но волны озера не скрыли их в водах:
Шумя прозрачными крылами,
Они несли сирот на пенистых хребтах
И окропляли их жемчужными слезами.
Они плывут!..
Повито трауром, как факел погребальный,
Светило дня бросает луч прощальный,
Как бы преследуя, в последний их приют.
Но силы бури не слабеют:
Леса шумят, песок летит,
Вран черный жалобно кричит,
И волны озера белеют.
Они плывут! За валом вал
Бежит шумящею грядою
И вот, как запад догорал,
К пустому острову прибило их волною,
И ветер белыми песками закидал!..
О, что с тобой, певец весенних дней?
Кому твои серебряные трели?
Ты должен поменять волшебный блеск полей
На мрачные леса, на гробовые ели.
Никем не знаемый, ты станешь изнывать
В немой глуши уединенья
И в песнях жалобных лесам передавать
Твою тоску, твои мученья.
Но кто придет послушать песнь твою,
Кто затаит в груди пленительные звуки?
И голос твой замрет в порывах тяжких муки,
И ветер разнесет их бледную струю!
Наутро стихнули порывы грозной бури;
Спокойно озеро; не тронется листок;
И царь светил восходит на восток,
Лия пурпурный блеск и пламень по лазури;
Сверкает искрами песок;
Горит алмазами кудрявая береза,
И темный бор златым осветился венцом.
Но на холме береговом
Цветет одна сиротка роза!

Спасенная под гибельной грозой
Крылом хранителя, отныне
Она одна своей пленительной красой
Манит взор путника, заблудшего в пустыне,
И украшает холм родной!

1835

14. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Я понял, я знаю всю прелесть любви!
Я жил, я дышал не напрасно!
Недаром мне сердце шептало: «Живи!» —
В минуты тревоги ненастной.

Недаром на душу в веселых мечтах
Порою грусть тихо слетала
И тайная дума на легких крылах
Младое чело осеняла.

Но долго я в жизни печально блуждал
По тернам стези одинокой;
Но тщетно я в мире прекрасной искал,
Как розы в пустыне далекой.

И много обшел я роскошных садов,
Но сердце *ее* не встречало;
И много я видел прелестных цветов,
Но сердце упорно молчало.

Пустыней казался мне мир. На пути
Нигде не слыхал я привета.
Зачем же, я думал, сей пламень в груди
И сердце восторгом согрето?

Но нет, не напрасно тот пламень возжжен
И сердце в восторге трепещет!
Настанет мгновенье, и радостно он
В очах оживленных заблещет!

Настанет мгновенье, и силой мечты
Возникнет мир новый, чудесный.
То мир упоенья! То мир красоты!
То отблеск отчизны небесной!

И радужным светом оденется высь
И ярко в душе отразится;
И в сердце проникнет небесная жизнь,
И сумрачный взор прояснится...

Настало мгновенье... И, радость очей,
С надзвездной долины эфира
Хранитель мой, гений в сиянье лучей
Приникнул над бездною мира.

Он видит глубокую тму под собой,
Он слышит печальных призванья.
Он сходит на землю воздушной стопой —
Утишить земные страданья.

И мир превратился в роскошный чертог,
И в тернах раскинулись розы;
И в сердце зажегся потухший восторг,
И сладкие канули слезы.

О, сколько блаженства во взоре его!
О, сколько в улыбке отрады!
Всю вечность смотрел бы, смотрел на него:
Другой мне не нужно награды.

Но нет, то не гений! Небесный жилец
На землю незримо нисходит;
Но нет, то не смертный! Удольный пришлец
На небо собой не возводит.

То горняя в мире земном красота!
То цвет из эдемского рая!
То лучшая чистого сердца мечта!
То дева любви молодая!

О юноша! в гордой душе не зови
Забавой мечты той прекрасной!
Я понял, я знаю всю цену любви!
Я жил, я дышал не напрасно!

1835

15. ТИМКОВСКОМУ
(НА ОТЪЕЗД ЕГО В АМЕРИКУ)

Готово! Ясны небеса;
В волнах попутный ветр холмится,
И чутко дремлют паруса,
И гром над пушкою дымится.

Бокал! Бокал! Пускай струя
Сребристых вод донских пред нами
Горит жемчужными огнями
И шумно плещет чрез края.
Ударив дружно руки в руки,
Мы усладим прощальный час
И горечь долгия разлуки,
Судьбой положенной для нас.
К чему роптать? Закон небесный
Нас к славной цели предызбрал,
И он же нам в стране безвестной
Ту цель в рассвете указал.
Какая цель! Пустыни, степи
Лучом гражданства озарить,
Разрушить умственные цепи
И человека сотворить;
Раскрыть покров небес полночных,
Богатства выспросить у гор
И чрез кристаллы вод восточных
На дно морское кинуть взор;
Подслушать тайные сказанья
Лесов дремучих, скал седых
И вырвать древние преданья
Из уст курганов гробовых;
Воздвигнуть падшие народы,

Гранитну летопись прочесть
И в славу витязей свободы
Колосс подоблачный вознесть;
В защиту правых, в казнь неправым
Глагол на Азию простерть,
Обвить моря орлом двуглавым
И двинуть в них и жизнь и смерть.
Такая цель! Мой друг, ужели,
Себе и чести изменив,
Мы отбежим от славной цели
И сдержим пламенный порыв?
Ужель, забыв свое призванье
И охладив себя вконец,
Мы в малодушном ожиданье
Дадим похитить свой венец?
Нет! Нет! Пока в нас сердце дышит,
Пока струится жар в крови —
Ничто, ничто да не подвижет
Святой и доблестной любви!
Сомненья робкие подавим,
Явим величье древних дней
И козням зла противпоставим
Всю силу твердости своей,
Великим трудностям — терпенье;
Ошибкам — первые плоды;
Толпе насмешливой — презренье;
Врагам — молчанье и труды.
Желанье славы есть уж слава;
Успех достойно превознесть;
Но кто ж дерзнет похитить право
Героя падшего на честь?
Но кто ж дерзнет клеймом бесчестья
Его паденье запятнать
И в то же время низкой лестью
Успех злодейства увенчать?
Влеченью высшему послушны,
Мой друг, оставив малодушных,
С их целью жизни мелочной,
С самолюбивым их расчетом,
Изнемогать под вольным гнетом
И смыться темною волной, —

Не охладим святого рвенья,
Пойдем с надеждою вперед.
И если... пусть! Но шум паденья
Мильоны робких потрясет.

1835

16. ТУЧА

Ходит туча в синем небе,
Смотрит туча мрачным взором,
На груди покоя гром.

«Где бы лучше, — молвит туча, —
Мне расстлаться в синем небе
Молньеблещущим ковром?»

Видит море. Черным валом
Плещет море в дальний берег,
Ходит белою грядой.

«Разостлалась бы над морем —
Не спалить мне синя моря,
Не зажечь волны седой».

Туча дальше. Столп гранита,
Подпирая сине небо,
Опоясан бездной вод.

«Раздавила б, растопила б
Я Атланта. Но, могучий,
Он разрушен — не падет».

Туча дальше. Тучны нивы
Дышат грудью золотою,
Блещут бисером росы.

«Не над ними грому грянуть!
Пища червя — им ужасен
И ничтожный взмах косы».

Ходит туча в синем небе,
Смотрит туча мрачным взором,
На груди колебля гром.

«Где бы лучше, — ропщет туча, —
Мне отгрянуть в синем небе
Разрушительным ядром?»

Видит царство. Город пышный,
Семь холмов собой раздвинув,
Три реки сплотил собой.

Шпицы башен блещут в солнце,
Будто горы — медны стены
Вьются длинною трубой.

Пышность зданий, блеск уборов,
Шум движенья, говор людства,
Гром тимпанов и мечей.

Стала туча. Дышит гневом.
Меркнет солнце от движенья
Мрачно-огненных очей.

«Расстелюсь я над холмами,
Я всколеблю ось земную,
Я разрушу пышный град!»

Но могуща сила веры:
Дряхлый старец слабой дланью
Двинул грозную назад!

1835

17. НОЧЬ

Лежала тьма на высях гор;
В полях клубился мрак унылый;
Повитый мглой, высокий бор
Курился ладаном могилы.

Лениво бурная река
Катила в море вал гремучий,
И невидимая рука
Сдвигала огненные тучи.

Не холнет ветр в тиши ночной;
Не дрогнет лист немой дубравы;
Лишь изредка в чащи лесной
Сверкнут глаза звездой кровавой.

Лишь изредка косматый зебрь
В трещобу дальнюю промчится,
И отзовется гулом дебрь,
И след волною заструится.

Но снова прянет тишина!
И мрак, печальный спутник ночи,
Крылами радужными сна
Смежает дремлющие очи.

1835

18. ФОМА-КУЗНЕЦ

Отрывок из драматической повести

Ряд кузниц; одна из них отворена.

1

Старик Лука
(поет, работая в кузнице)

Вдоль по улице широкой
Молодой кузнец идет;
Ох, идет кузнец, идет,
Песню с посвистом поет.
Тук! Тук! Тук! С десяти рук
Приударим, братцы, вдруг.
Соловьем слова раскатит,
Дробью речь он поведет;

Ох, речь дробью поведет,
Словно меду поднесет.
Тук! Тук! и пр.
Полюби, душа Параша,
Ты лихого молодца;
Ох, лихого молодца,
Что в Тобольске кузнеца.
Тук! Тук! и пр.
Как полюбишь, разголубишь,
Словно царством подаришь;
Ох, уж царством подаришь,
Енералом учинишь.
Тук! Тук! и пр.

(Выходит из кузницы.)

Уж солнышко идет повечерять
И божий мир не так привольно греет;
Пора и нам работу окончать;
От лишних сил и добрый лук слабеет.

(Садится на прилавку.)

А дивно же творец наш мир ведет!
Без господа и конь шага не ступит.
Вот день потух: его прошел черед,
А там, гляди, и темна ночь наступит.
Сегодня я следил его закат,
А завтра он, быть может, мой проводит...
Ужли-то есть земля, как говорят,
Где солнышко совсем с полдня не сходит?
А жаль мне их! Не видят бедняки
Ни ясных звезд, ни месяца, ни зорей;
Всё день да день! Да я б исчах с тоски
(Спаси нас батюшка, святой Егорий!).
Знать, согрешил пред богом тот народ,
Что экую послал им бог притчину.
Ну, то ль у нас? За ночью день идет,
Тут снова ночь, как следует по чину.

М а л ь ч и к
(из кузницы)

Лука Ильич! Сюда, скорей сюда!

Лука

(вставая)

Ну, что там? Чай, опять за мною дело?
Ох, молодежь!

Мальчик

Да что, бедой беда!
Огонь велик, железо пригорело.

Лука уходит в кузницу, к которой подъезжает верхом человек средних лет.

Проезжий

Эй, кузница!

Лука

(в кузнице)

Кого господь дает?

(Выходит.)

Что надоть? Ась?

Проезжий

(показывая на сбитую подкову)

А вот, дружок, что нужно.
Да поскорей!

(Спрыгивает с коня.)

Лука

Ну, барин, время ждет.
Хоть мне, то есть, и не совсем досужно,
Да так и быть. Ты, чай, ведь сдалека?..
Возьмет же странствовать людей охота.
А славного бог дал тебе конька.
Немецкой, што ль?

Проезжий

Да, английской.

Лука

Вот то-то!
Мы знаем толк, недаром сорок лет
Куем коней и упряжные снасти,
Хошь расказак, да не надует, нет!

Смекнем, что русской, что немецкой масти.
Ведь каждый день коптимся мы в дыму
И всякую работаем работу...
Что грех таить! К кузнечному письму
Господь мне дал и разум и охоту.
Спаять ли что, лихова ль подковать,
Надвесить ли торговые запоры,
Замки ль свернуть на аглицкую стать,
Иль вывести немецкие узоры —
На всё Лука! Скажи, что ни на есть
Мудреного, а к вечеру готово!
Любуйся лишь. За то Луке и честь,
За то Луке поклон и добро слово.
Нам молота не стать уж подымать...

Проезжий
(рассеянно)

Хозяин ты?

Лука

Оно хошь не хозяин,
Да коли где придется, так сказать,
Хозяйничать, так дело мы уж знаем.
Умеем где прикрикнуть, где смолчать.
Мы сами ведь бывали под началом.
А знатный конь! Искусственная стать!
Ну, так бы быть ему под енералом.
А можно ли спрошать твой, барин, чин?
Я чаю, ты не низшего сословья?

Проезжий

Чин? Чин? Ну, человек! Ну, дворянин!
Охота знать чужие предисловья!

Лука

В любовь, не в гнев. Оно, то есть, ништо,
Да к речи так пришло сказать случилось.
Ведь наш язык прямое решето,
Что ии вольешь, всё выйдет, ваша милость.
Язык — наш враг, писание гласит,
Да победить его подчас не в силу.

Ты чтоб молчать, а бес его зудит,
Да ведь тако ино, что — господи помилуй!
Подумаешь, уж я ли не молчок,
А всё порой дойдет до всех соборов.
Да кстати речь...

Проезжий

Пожалуйста, дружок,
Побольше дел, поменьше разговоров.

Лука

Вишь ты!

(Уходит, ворча, в кузницу.)

2

Проезжий
(задумчиво)

Спасен! Кого ж благодарить —
Себя, коня или судьбу я должен?
Мне удалось следы мои сокрыть
И обмануть стозорких этих волжан.
Пусть рвутся их с досады и тоски!
Мне всё равно! К опасности готовый,
Я не боюсь бессильной их руки,
Мне не страшны безумные их ковы...
Но что же я? Какую роль играть
Мне суждено меж жалких этих братий —
Давить их, гнесть их, в прах и в грязь
втирать,
Или просить смиренно их объятий,
Услуживать ученым старикам,
Водить старух, псаломствуя, к обедням,
Любезничать меж этих постных дам
И в праздники таскаться по передним.
Но так и быть! Смиренно заживем,
Прикинемся, узнать никто не сможет;
А в случае, там дерзостью возьмем,
Где ложное смиренье не поможет.

(Ходит молча.)

3

Лука

(выводит коня)

Вот и совсем! А чудный, право, конь!
Не шерсть, а шелк! А грива, что те трубы!
Насилу справились, такой огонь!
Вот так, пострел, и метит прямо в зубы.

Проезжий

А не мешало бы, хоть на помин.

(Дает деньги.)

Лука

Эх, батюшка, и то зубов не сыщу.
Взялся бы наковать хоша один,
Да ведь как быть: не ладится на притчу.

Проезжий едет в город.

И сам не говорит, да и другим
Велит держать монашескую строку.
Да мы и без него, парень, молчим.
Родится же, что ни в Кузьму, ни в Фоку.
Зачем же бог людям язык дает?
Мы, думаем, дескать, мы рассуждаем,
Мы дохтура, а вы что? Так, народ
Оборванный, в азямах!.. Да, брат, знаем,
Пусть дохтур твой коня те подкует!..

1835

19. ДУБ

На стлани зелени волнистой,
Под ярким куполом небес
Широко веет дуб тенистый —
Краса лесов, предел очес.
Он возрастал в борьбе жестокой,
Он возмужал в огнях грозы
И победителем высоко
Раскинул гордые красы.

Он видел бури разрушенья,
Громады, падшие во прах,
И праздник нового рожденья,
И жизнь в торжественных венцах.
Но никогда, богатый силой,
Он не склонялся пред грозой,
И над дымящейся могилой
Он веял жизнью молодой.
Не раз орел небес пернатый
Венчал главу его крылом,
Внимал бессильные раскаты
Над гордым гения челом.
Как он велик, могучий гений,
Властитель трепетных полей!
Он бросил в них державно тени
И поглотил весь свет лучей.
Теперь в нем дремлют мощь и сила!
Грозы мертвящая рука
Давно уж меч свой притупила
О грудь стальную старика.
Но что? ужель боец надменный
Умрет в недеятельном сне
И червь, точа во тьме презренной,
Его разрушит в тишине?
О нет! Иное назначенье!
Он должен рухнуть под косой,
Чтоб снова праздновать рожденье,
Чтоб снова ратовать с грозой.

Гремит волна, рокочут тучи,
И вот, как феникс, окрылен,
Из края в край кормой летучей
Бесстрашно бездны роет он.
В пучине влаги своенравной
Он вновь открыл избыток сил,
И вновь орел самодержавный
Его чело приосенил.

1835

20. ⟨В АЛЬБОМ В. А. ТРЕБОРНУ⟩

Вступая в свет неблагодарный
И видя скорби, я роптал;
Но мой хранитель светозарный
Мне в утешение сказал:
«Есть два сопутника меж вами,
Они возьмут тебя в свой кров,
Они усыплют путь цветами,
Зовут их — дружба и любовь».
И я с сердечною тоскою
Пошел сих спутников искать...
Один предстал ко мне с тобою,
Другого, может, не видать.

1835

21. ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ

Мой друг! Куда, в какие воды
Тебе послать святой привет
Любви, и братства, и свободы?
Туда ль, где дышит Новый Свет
С своими древними красами?
Или туда, в разбег морей,
Где небо сходится с волнами
Над грудью гордых кораблей?
Но где б ты ни был, я повсюду
Тебя душой моей найду,
Незримо в мысль твою войду
И говорить с тобою буду.
О, ты поймешь меня, мой брат,
Мой милый спутник до могилы!
Пусть эти речи не блестят
Разливом пламени и силы;
Пускай не звучные, оне
Не ослепят судей искусства.
Зачем? Созревши в тишине,
На ниве огненного чувства,
Они чуждаются прикрас.
Плод жаркий внутренних страданий, —

Его ли вынесть напоказ,
Одетый в жемчуг и алмаз?
Мой друг и спутник, дай мне руку!
Я припаду на грудь твою,
И всю болезнь, всю сердца муку
Тебе я в душу перелью!

Рожденный в недрах непогоды,
В краю туманов и снегов,
Питомец северной природы
И горя тягостных оков, —
Я был приветствован метелью,
Я встречен дряхлою зимой,
И над младенческой постелью
Кружился вихорь снеговой.
Мой первый слух был — вой бурана;
Мой первый взор был — грустный взор
На льдистый берег океана,
На снежный гроб высоких гор.
С приветом горестным рожденья
Уж было в грудь заронено
Непостижимого мученья
Неистребимое зерно.
Везде я видел мрак и тени
В моих младенческих мечтах:
Внутри — несвязный рой видений,
Снаружи — гробы на гробах.
Чредой стекали в вечность годы,
Светлело что-то впереди,
И чувство жизни и свободы
Забилось трепетно в груди.
Я полюбил людей как братий,
Природу — как родную мать,
И в жаркий круг моих объятий
Хотел живое всё созвать.
Но люди . . . .
Мне тяжек был мой первый опыт.
Но я их ненависть забыл,
И, заглушая сердца ропот,
Я вновь их в брате полюбил.
И всё, что сердцу было ново,

Что вновь являлося очам,
Делил я с братом пополам.
И, недоверчивый, суровый,
Он оценил меня. Со мной
Он не скрывал своей природы,
Горя прекрасною душой
При звуках славы и свободы,
Он мне доверил тайну сил
Души-вулкана; он открыл
Мне лучшие свои желанья,
Свои заветные мечты
И цель — по терниям страданья,
В лучах небесной красоты...
Не зная лучшего закона,
Как чести, славы и добра,
Он рос при имени Петра,
Горел на звук Наполеона.
Как часто в пламенных мечтах
Он улетал на берег дальный,
Где спит воитель колоссальный
В венцах победы и в цепях.
О, если б видел ты мгновенье,
Когда бесстрашных твердый строй
Шагал с музыкой боевой!
Он весь был жизнь! весь вдохновенье!
Прикован к месту, он дрожал,
Глаза сверкали пылом боя...
Казалось, славный дух героя
Над ним невидимо летал!

Но он угас во цвете силы,
И с ним угасла жизнь моя.
И в мраке братния могилы
Зарыл заветное всё я.
Я охладел к святым призваньям;
Моя измученная грудь
Жила еще одним желаньем —
Скорее с братом отдохнуть.
Но дух отца напомнил слово —
Завет последний бытия;
Я возвратился к жизни снова;
Но что за жизнь была моя!

Привязан к персти силой крови —
Любовью матери моей,
Я рвался в небо, в край любови,
В обитель тихую теней.
Но мне отказано в желанье,
Я должен мучиться и жить
И дорогой ценой страданья
Грех малодушья искупить.
Я измирал на язвах муки
И голос сердца заглушал.
О, как тогда в святые звуки
Я перелить его желал!
Но для чего? Кому б поверил
Святую исповедь души?
Кто б из чужих ее измерил?
Один, в полуночной тиши,
Склонясь к холодному сголовью,
Я, безнадежный, плакал кровью
И раны сердца раздирал.
Любить кого б любовью вечной —
Вот то, чего я так искал,
За что бы жизнь мою я дал
На муки жизни бесконечной.

Любовь! Любовь! Страданья цвет!
Венец страстей, души светило!
Кому б ты сердца не открыла,
Не облекла его во свет?
Я всё бы отдал — жизнь и славу,
Лишь бы из чаши бытия
Вкусить блаженство и отраву
В струях волшебного питья.
Но годы идут без возврата,
Напрасно сердце я зову,
И может быть, до дней заката
Я жизнь бесстрастно отживу...
Один с сердечною тоскою,
По тернам долгого пути,
Нигде главы не успокою
На розах пламенной груди.
Пойду, бесстрастный, одиноко,
Железом душу окую,

И пламень неба я глубоко
В пустыне сердца затаю.
А как бы мог любить я! Силы
Небес, и ада, и земли
От первой искры до могилы
Ее бы вырвать не могли!
О нет! И самый смерти камень,
И холод мертвенный могил
Не угасили б жаркий пламень:
И там бы я ее любил!..
Но что в мечтаньях? Эти грезы,
Души желающей поток,
Не осушат мне сердца слезы, —
Я всё средь мира одинок!..

Но прочь укор на жизнь, на веру!
Правдив всевышнего закон!
Я за любовь, мой друг, чрез меру
Твоею дружбой награжден.
Я буду жить. Две славных цели
Священный день для нас открыл.
Желанья снова закипели;
Твой голос сердце пробудил.
Я вновь на празднике природы;
Я снова вынесу на свет
Мои младенческие годы
И силы юношеских лет.

Мой друг! Мой брат! С тобой повсюду!
На жизнь, на смерть и на судьбу!
Я славно биться с роком буду
И славно петь мою борьбу.
Не утомлен, пойду я смело,
Куда мне рок велит идти, —
На наше творческое дело,
И горе ставшим на пути!..
. . . .
И там, одеянный лучами,
Венец сияющий сниму,
И вновь с любовью и слезами
Весь мир как брата обниму.

1836

22—29. *СТРАШНЫЙ МЕЧ*

(Отрывки из либретто)

1

ХОР КРЕСТЬЯН

Общий хор

Ужасный день! Опять гроза
Шумит над нашими полями.
Скорей, друзья, скорей в леса!
Уж нивы стонут под конями
И в дыме меркнут небеса!

Несколько голосов

Простите, жилища и нивы родные!
Прости, прародительский мирный приют!
Окончились дни, наши дни золотые...
Далёко нас волны войны занесут!

Хор

Скрылся, скрылся век веселый,
Век довольства, тишины!
Задымятся наши села
В страшном зареве войны!

Несколько голосов

Не зреть нам уж боле отцовского крова
И прадедов наших священных могил.
Нас гонят, нас гонят из края родного!
Гнев божий свой пламень на нас обратил.
Давно ли мы жили под верной защитой,
Давно ли под жатвой златились поля?
Их пламень разрушит! Их сроет копыто!
И кровью зальется родная земля!





2

БАЛЛАДА ПАСТУХА

Пастух

Там, за этими горами,
Где поток крутой шумит,
С золотыми головами
Зданье дивное стоит.
В нем, в забавах провождая
Дни и ночи напролет,
Чародейка молодая
С злыми силами живет.

Хор

Об этом каждому известно,
Поверь, он правду говорит.

Пастух

Недоступен замок дивный
Чародейки молодой,
И ни разу рог призывный
Не трубил ему войной.
Вдруг с отборными бойцами,
В щит оружием звуча,
Показался пред стенами
Витязь страшного меча.
Красотой ее плененный,
Он одну ее искал,
И себя, и стан военный
Чародейке отдавал.
Просьбы тщетные! Всемила,
Тайной силою гордясь,
Хоть Ратмира и любила,
Но дала ему отказ.
С тех пор они враждуют меж собою,
И, гордые, ни витязь, ни она
Не думают друг другу покориться...
А мы страдать должны!
Мечи их губят наши села
И наши мирные поля.

3

ПЕСНЯ ДЕВУШЕК

Общий хор

Веселье! Веселье! Срывайте цветы!
Веселье! Веселье! Свивайте венки!

Первый хор

Мы сорвем, сорвем цветы
Легкими руками,
Мы завьем, завьем цветы
Пышными венками.

Второй хор

Мы украсим те венки
Бисером цветистым.
Мы наденем те венки
Из цветов душистых.

Общий хор

О, ловите упоенье!
Радость, сладкое мгновенье,
Проблеск райской стороны!
Торжествуй, краса и сила,
Радость всех очей — Всемила,
В новый день твоей весны.

4

ПЕСНЯ ОТРОКА

В небе морок, в сердце горе!
Что мне делать, как мне быть?
Я пойду ль на сине море
С ним кручину разделить.
Там на береге зеленом,
Над широкою волной,
Поклонюсь ему поклоном
И спрошу его с тоской:
«Море, море! Ты волнами
Весь мир божий обтекло, —
За какими берегами
Вечно на небе светло?»

5

ДУЭТ ЧАСОВОГО И ЧАСОВОЙ

Часовой и Часовая

Мрачно на небе без солнышка,
Грустно на сердце без девицы (молодца).

Часовой

Если б крылья я имел
Соколины,
Я давно бы улетел
В край родимый.

Часовая

Я и ранней зарей,
Я и поздней порой
Всё ходила в полях,
Всё срывала цветы.

Часовой

В том краю живет она —
Радость сердца.
Дни и ночи у окна
Ждет милова.

Часовая

Я срывала цветы,
Я бросала в реку:
Вы плывите туда,
Где мой милый живет.

Часовой

И взглянул бы я с тоской
В очи милой:
«Не видаться мне с тобой
До могилы!»

Часовая

Вы скажите ему,
Что грущу без него,
Что я ночью и днем
Ожидаю его.

6

ХОР ЖРЕЦОВ ЛАДЫ

Из далеких стран полночи
Мы приносим в вашу землю
    Благодать небес.
Вы спешите встретить Ладу,
Мир носящую богиню,
    В светлом торжестве.
Да с ее святым приходом
Процветет здесь древа мира
    Благодатный плод.

Общий хор

Теперь да стихнут смуты ада!
Да гаснет пламенник войны!
Привет тебе, о матерь Лада,
Богиня мира и любви.

7

ХОР ЖРЕЦОВ ЧЕРНОБОГА

Хор жрецов

Чернобог! Чернобог!
Мы приносим тебе
В жертву чистую кровь
При усердной мольбе.

Три жреца

Отврати от нас несчастье злое!
Пронеси грозящую нам тучу.

Три жреца

Да тебе угодна будет жертва:
Дым густой, источник чистой крови.

8

ПЕСНЯ БАЯНА

Я посвящаю кубок мой
Тебе, всемощный звуков гений!
Ты дал мне силу песнопений,
Ты окрилил меня мечтой.
Ты правил слабыми перстами,
Когда пред взорами князей
Я славил звучными струнами
Величье родины моей.
Ты мне источник вдохновений!
И восхищенною душой
Тебе, всемощный звуков гений,
Я посвящаю кубок мой!

1836

30. КОЛЬЦО С БИРЮЗОЮ

Камень милый, бирюзовый,
Ненаглядный цвет очей!
Ах, зачем, мой милый камень,
Ты безвременно потуск?
Я тебя ли не лелеял?
Я тебя ли не берег?
Что ж по-прежнему не светишь?
Что не радуешь очей?
Ах! я слышу, ах! я знаю,
Милый камень, твой ответ:
«Скоро, скоро нас оставит
Незабвенный ангел наш.
Свет очей ее небесных
Освещал меня собой,
И дыханье уст прелестных
Оживляло красотой!..»
Ты померкни, ты потускни,
Камень милый, дорогой!
Распаяйся, разломися
Ты, заветное кольцо!

Что мне кольца, что мне камни,
Если нет со мной ее?
С ней и радость, с ней и счастье!
Без нее мне жизнь не в жизнь!

1836 (?)

31. ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ

Прелестно небо голубое,
Из вод истканное творцом.
Пространным, блещущим шатром
Оно простерто над землею.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестна роза Кашемира!
Весной, в безмолвии ночей,
Поет любовь ей соловей
При тихом веянье зефира.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестны бледно-сини воды!
В кристалле их — и свод небес,
И дремлющий в прохладе лес,
И блеск весенния природы.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестна лилия долины!
В одежде брачныя четы,
Как кроткий ангел красоты,
Цветет в пустынях Палестины.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

Прелестны жатвы полевые!
При ярких солнечных лучах

Они волнуются в полях,
Как будто волны золотые.
Всё так! Но мне милей
Зеленый цвет полей.

(1837)

32. ВОПРОС

Поэт ли тот, кто с первых дней сознанья
Зерно небес в душе своей открыл
И, как залог верховного призванья,
Его в груди заботливой хранил?
Кто меж людей душой уединялся,
Кто вкруг себя мир целый собирал,
Кто над толпой гигантом возвышался
И пред творцом во прах себя смирял?

Поэт ли тот, кто с чудною природой
Святой союз сыздетства заключил,
Связал себя разумною свободой
И мир и дух сознанью покорил?
Кто воспитал в душе святые чувства,
К прекрасному любовию дышал,
Кто в области небесного искусства
Умел найти свой светлый идеал?

Поэт ли тот, кто всюду во вселенной
Дух божий — жизнь — таинственно прозрел,
Связал с собой и думой вдохновенной
Живую мысль на всем напечатлел?
Кто тайные творения скрижали,
Не мудрствуя, с любовию читал,
Кого земля и небо вдохновляли,
Кто жизнь с мечтой невольно сочетал?

Поэт ли тот, кто нить живых сказаний
На хартии сочувственно следил,
Кто разгадал хаос бытописаний
И опытом себя обогатил?

Кто над рекой кипевших поколений,
В глухой борьбе народов и веков,
В волнах огня, и крови, и смятений
Провидел перст правителя миров?

Поэт ли тот, кто светлыми мечтами
Волшебный мир в душе своей явил,
Согрел его и чувством, и страстями
И мыслию высокой оживил?
Кто пред мечтой младенцем умилялся,
Кто на нее с любовию взирал,
Кто пред своим созданьем преклонялся
И радостно в восторге замирал?

Поэт ли тот, кто с каждой каплей крови
Любовь в себя чистейшую приял,
Кто и живет, и дышит для любови,
Чья жизнь — любви возвышенный фиал?
Кто всё готов отдать без воздаянья
И счастье дней безжалостно разбить,
Лишь только бы под иглами страданья
Свою мечту прекрасную любить?

Поэт ли тот, кто, в людях сиротея,
Отвергнутый, их в сердце не забыл,
Кто разделял терзанья Прометея
И для кого скалой мир этот был?
Кто, скованный ничтожества цепями,
Умел сберечь венец души своей,
Кто у судьбы под острыми когтями
Не изменил призванью первых дней?

Поэт ли тот, кто холод отверженья
Небесною любовью превозмог,
Врагам принес прекрасные виденья,
Себе же взял терновый лишь венок?
Кто не искал людских рукоплесканий,
Своей мечте цены не положил
И в чувстве лишь возвышенных созданий
Себе и им награду находил?

Пусть судит мир! Орудье ль благодати,
Герой ли он иль странный на земле?
Горит ли знак божественной печати
На пасмурном, мыслительном челе?
Пусть судит он! — Но если мир лукавый,
Сорвав себе видений лучший цвет,
Лишит его и имени, и славы —
Пускай решит: кто ж он, его поэт?

Август 1837

83. КТО ОН?

Он силен — как буря Алтая,
Он мягок — как влага речная,
Он тверд — как гранит вековой,
Он вьется ручьем серебристым,
Он брызжет фонтаном огнистым,
Он льется кипучей рекой.

Он гибок — как трость молодая,
Он крепок — как сталь вороная,
Он звучен — как яростный гром,
Он рыщет медведем косматым,
Он скачет оленем рогатым,
Он реет под тучи орлом.

Он сладок — как девы лобзанья,
Он томен — как вздох ожиданья,
Он нежен — как голос любви,
Он блещет сияньем лазури,
Он дышит дыханием бури,
Он свищет посвистом Ильи.

Он легок — как ветер пустынный,
Он тяжек — как меч славянина,
Он быстр — как налет казака.
В нем гений полночной державы...
О, где вы, наперсники славы?
Гремите!.. Вам внемлют века!

1837

34. СУЗГЕ

Сибирское предание

1

Царь Кучум один владеет
Всей сибирскою землею;
Обь, Иртыш, Тобол с Вагаем
Одному ему подвластны;
Он берет со многих дани,
Сам не платит никому.
Царь Кучум, сидя в Искере,
С утра раннего до ночи
Пишет царские приказы,
Рассылает повеленья
От Урала до Алтая,
По сибирской всей земле.
Много силы у Кучума,
Много всякого богатства:
Драгоценные каменья,
Из монистов ожерелья,
Черный соболь и лисицы,
Золото и серебро.
Царь Кучум живет в палатах,
Ест с серебряного блюда,
Из ковша пьет золотого,
Спит под шелковым навесом,
На пуховых на постелях,
Ходит мягко по коврам.
У того царя Кучума
Две подруги молодые,
Две пригожие царицы,
Полногруды, белолицы,
У одной глаза как небо,
У другой глаза как ночь.
Царь Кучум обеих любит,
Царь Кучум обеих нежит,
С алой розы умывает,
В шелк, монисты наряжает,
И дородство, и пригожство
Пуще глазу бережет.

2

Раз о полдень царь Сибири
От трудов своих от царских
Отдыхал на мягком ложе.
Вдруг к нему, царю, подходит,
Легкой ножкой чуть ступая,
Черноглазая Сузгé.
«Мой супруг и повелитель,
Царь Кучум! Твоя рабыня
Хочет нынче женской просьбой
Утрудить твое вниманье».
Так к нему, царю, вещает
Черноглазая Сузге.
Царь Сибири, усмехаясь,
Взял пригожую царицу,
Посадил к себе на ложе,
И, обняв рукою правой,
«Расскажи, моя царица!» —
Молвит ласково ей он.
«Мой супруг и повелитель! —
Говорит Сузге Кучуму. —
Велико твое владенье,
Хороши твои усадьбы;
Но одно твое селенье
Лучше кажется мне всех.
Там есть холм один высокий:
С двух сторон стеною — горы,
С двух сторон ковром — равнина;
У холма же, словно лента,
Ручеек бежит в равнину,
А вдали шумит Иртыш.
Прикажи мне, мой властитель,
Там построить терем царский
И позволь твоей рабыне
В этом тереме веселом
Встретить вешнюю зарницу,
Красно лето проводить».
— «Будет!» — молвит царь Сибири.
«Да еще одно прошенье:
Прикажи срубить там судно,
Снарядить его прибором,

Тонким парусом с подзором,
Чтоб вечернею порою
Мне гулять по Иртышу».
— «Будет!» — молвит царь Сибири.
«Да еще одно прошенье:
Приезжай два раз в неделю
Навестить твою рабыню,
Слово ласково промолвить,
Ложе ночью разделить».
— «Будет! — молвит царь Сибири. —
В три недели приготовят
На холме веселый терем,
На реке с прибором судно,
И два раз в неделю буду
Я в твой терем приезжать».

3

Время срочное минуло:
На холме Сузге высоком
Красовался царский терем —
С переходами резными,
Со ставнями расписными,
С узорочною оградой
И с перильчатым крыльцом.
Пихты, лиственницы, ели
Осеняют царский терем;
Над ручьем белеет полог;
От крыльца к ручью по скату
Вьется легкая дорожка
И теряется в цветах.
По равнине по широкой
От реки до гор далеких
Ходят воины Кучума,
Стерегут тот терем царский,
Гладят бороду седую,
Саблей звонкою стучат.
На реке гуляет судно:
Двадцать весел плещут воду,
Белый парус наготове
Развернуться полной грудью,

Заплескать в волнах кипучих,
Судно легкое нести.
За весной приходит лето,
Убирает всю природу
В разноцветную одежду:
Таль, березу рядит в зелень,
Куст шиповника румянит,
Вяжет лентами цветы.
Вся земля пирует лето;
Вся Сибирь пирует лето;
Но на всей земле сибирской
Нет прекраснее Сузгуна,
Где живет луна-царица,
Черноглазая Сузге.

4

Зной полудня утихает;
С гор, увенчанных лесами,
Ветерок летит прохладный.
Вот из терема выходят
По решетчатым воротам
Шесть татарок молодых.
И стоят они попарно
В обе стороны по скату,
Ждут царицу молодую,
Чтоб вести ее под полог —
В сокровенную купальню
Тихоструйного ручья.
Вот является царица,
Легкой серною мелькает
По излучистой дорожке, —
И спешат за ней рабыни
Снять ревнивые покровы
С их царицы молодой.
Белый полог застегнулся...
Слышны речи, слышен хохот,
Звонкий плеск прозрачной влаги,
И на пологе широком,
В легких очерках видений,
Тени зыблются порой.

Вечер. Кончилось купанье.
Снова полог расстегнулся,
И царица молодая
(Щеки розами горят)
Вновь мелькнула по дорожке
Легкой серною на холм.
И под пихтою душистой
Опустилася, слабея,
На узорчатые ткани.
И несет одна девица
Прохладительный напиток
Ей в сосуде золотом;
Вкруг Сузге ее рабыни:
Черну косу выжимают,
Чешут гребнем, разделяют
В плетеницы, завивают
И жемчужную повязку
В косу пышную плетут.
Пьет царица молодая
Прохладительный напиток.
Словно пламя — пышут щеки;
Словно звезды — блещут очи;
Словно волны — дышат груди;
Так бела и так свежа!
На коврах лежа узорных,
Приклонив к руке головку,
В упоительном раскиде —
То ли розою Востока,
То ли хурией пророка
Тут казалася Сузге!
А над нею полной чашей
Беспредельного сиянья
Небо лета развернулось;
А пред нею — горы, долы,
Бесконечная равнина,
Вечноплещущий Иртыш.
В легкий сон Сузге склонилась,
И любимая девица,
На колени став пред нею,
Обвевала опахалом
И пылающие щеки,
И трепещущую грудь.

5

Спит царица молодая
Под вечернею прохладой;
А у ног ее рабыни,
За узорным рукодельем,
Чуть-чуть слышными речами
Говорят промеж собой.
Чудны женские рассказы!
Будто полночью глухою
На мысу одном высоком
По три раза приходили
Цвету белого собака
И как уголь черный волк;
С воем грызлись меж собою,
И в последний раз собака
Растерзала злого волка.
Будто с той же ночи всюду
Меж сибирскими лесами
Чудным образом и видом
Вдруг береза зацвела.
Будто в полдень на востоке
Облака являют город
С полумесяцем на башне,
И подует ветр с Урала
И снесет тот полумесяц
И навеет чудный знак.
Будто в полночь вдруг заблещет
Над могилами Искера
Яркий свет звездой кровавой,
И послышится стук сабель
И неведомый им говор
И какой-то страшный треск.
Что-то будет с ханским царством!
А недаром же татары
Собираются к мечетям.
Сердце чует про невзгоду.
Тишина — предвестник бури:
Где ж зачнется та гроза?

6

Всходит утро над Сузгуном.
Вдруг к Сузге в высокий терем
Старшина седой приходит,
Торопливо просит видеть
Чрез рабынь свою царицу,
Молвить важные ей вести,
Слово нужное сказать.
И царица призывает
Старшину в свои палаты,
И волнистою фатою,
Словно облаком летучим,
Осторожно закрывает
Полнолунное лицо.
Вскоре входит старый воин.
Скинув шапку меховую,
Он честит Сузге поклоном.
«Вести важные, царица!
Здесь гонец царя Кучума,
Сохрани его алла!
К нам от западной границы,
От крутых верхов Урала,
Без призыву, без прошенья,
Вдруг пожаловали гости
И пируют нашей кровью
По сибирской всей земле.
Царь Кучум гонцов отправил,
Чтоб со всех сторон Сибири
Для защиты, для отпора
Собирались стар и молод,
Чтобы все свои селенья
Укрепляли в тот же час.
И к тебе гонец, царица!
Царь Кучум велит немедля
Строить стены и бойницы,
Делать валы и ограды,
Снаряжать себя довольством,
Рать осадную сбирать».
— «А далёко ль эти гости?» —
Старшину Сузге спросила.

«А когда б стрела летела
Час один с одною силой,
Так к концу она упала б
В их неверные шатры».
И дает Сузге-царица
Старшине тому седому
Тихо умные приказы,
И послушно старый воин
Ей клянется головою
Всё исполнить, как велит.

7

Спеет дружная работа.
С утра раннего до ночи
Сто работников послушных
Носят камни, возят бревна,
Роют рвы и сыплют валы —
Укрепляют царский холм.
Вот проходят две недели,
И Сузге веселый терем
Смотрит грозною твердыней:
Обнесен вокруг стенами,
Обведен высоким валом,
Окружен глубоким рвом.
Две бойницы подле ската,
И одна из них на запад,
Где Иртыш шумит волнами;
А другая на востоке,
Там, где стелется равнина
Бесконечной полосой.
И с бойниц тех непрестанно
Смотрят вдаль сторожевые,
И при каждом появленье
Незнакомых лиц в равнине
Вызывают громким криком
На бойницы весь отряд.
И гонец два раза в сутки
Скачет шибко за вестями
От Сузгуна до Искера —

Но обратно с каждым разом
Всё нерадостные вести
Он привозит от царя.

8

Раз, вечернею порою,
В те часы, когда молитву
Правоверные свершали,
А Сузге в своей светлице
Думу думала — нежданно
Быстро входит воин к ней.
Грозен вид его сердитый;
Лоб наморщен, губы гневом
Сведены; глаза сверкают.
Ни поклона, ни привета
Он не делает царице
И не смотрит на нее.
«Брат! — царица восклицает
И встает поспешно с места
И сжимает брату руку. —
Или новое несчастье
Нас постигло? Что ж? Не медли!
Всё ли кончено, скажи?»
Молчалив и гневен воин.
«Что с Кучумом? Что с народом? —
Вновь царица начинает. —
Или бог совсем оставил
Правоверных? .. Иль пришельцы
Посягнули на царя?»
Вздох страданья, вздох тяжелый
Был ответ Махмета-Кула.
Вдруг сорвал свою он саблю,
Бросил об пол в сильном гневе
И, закрыв лицо руками,
«Всё погибло! — простонал. —
Пришлецы теперь пируют
В нашем городе Искере;
Наше войско — куча трупов;
Сам Кучум бежал поспешно,
Бросив все свои богатства. . .
Гибель царства решена!»

Долго длилося молчанье
Между братом и сестрою.
Вдруг из ясных глаз царицы
Слезы градом покатились.
«Мой супруг! Мой повелитель!» —
Громко вскрикнула она.

9

Ходит скорыми шагами
Брат царицы по палатам;
Гнев, печаль его терзают;
А царица молодая
Неподвижно, молчаливо
На ковре своем сидит.
Вдруг Махмет остановился
Пред сестрой и грустно молвил:
«Мне с тобой сегодня должно
Разлучиться — пусть погибну,
Если рок велит мне гибнуть!
Если гибнет царство всё!
Да, сестра! Сегодня ж ночью
Я прощусь с тобой. Не бойся!
Без меня тебя не тронут.
Я о жизни не жалею:
Смерть моя спасет тебя.
Подожди! Но если след мой
У тебя наш враг откроет,
Всё пропало! Я знаком им,
Я встречался с ними в битвах:
Сам Кучум не так им страшен,
Как твой юный брат Махмет».
— «Всё ль? Теперь меня послушай. —
Речь царица начинает: —
Если бог велел погибнуть
Всей Сибири, пусть погибнет;
Но пускай и враг наш, русский,
Гибель с нами разделит.
Иль не стало больше средства?
Иль на всей земле сибирской
Нет уж боле человека?

Царь бежал: будь ты царь нынче,
Вороти свое владенье,
Завоюй себе Сибирь.
Слушай — хитрость лучше силы:
Распусти меж русских вести,
Что сидишь ты здесь, в Сузгуне;
И когда наш враг обложит
Это место, ты немедля
Собирай свои дружины.
Будь спокоен! Я умею
Продержать их под стенами
Столько времени, сколь нужно,
Чтоб тебе собраться с силой.
Тут нагрянь на них отважно —
И алла помощник твой!»
Речь окончила царица.
На лице Махмета-Кула
Луч блеснул отрадной мысли.
Нежно обнял он царицу,
«Да исполнится!» — сказал он
И поспешно вышел вон.

10

Царь Кучум в степи горюет
О своем богатом царстве;
А в больших его палатах
Казаки сидят за чарой,
Поминают Русь святую
И московского царя.
Впереди сидит начальник
И большой их воевода,
Первый в бое и советах,
Тот Ермак ли Тимофеич;
Редко к чаре он коснется,
И среди веселья крепко
Думу думает свою.
Справа грозный воевода,
Атаман Кольцо отважный,
Буйну голову повесив;
Слева, весел и разгулен,

С полной чарою глубокой
Атаман Гроза сидит
На другом конце пируют
Три другие атамана:
Мещеряк, Михайлов с Паном.
За палатами ж Кучума
На дворе большом гуляют
Удалые казаки.
Светлый день идет на вечер,
А казацкий пир к исходу, —
Вдруг большой их воевода,
Тот Ермак ли Тимофеич,
Выпив чашу одним духом,
Быстро встал из-за стола.
«Нет, товарищи! — сказал он. —
Рано нам еще на отдых;
Наше дело зачатое
Довершить сперва надлежит;
Мы Искер один лишь взяли —
Остается взять Сибирь.
К нам дошли худые вести:
Говорят, что царский шурин
Не бежал с царем Кучумом,
Что сидит теперь в Сузгуне,
Что тайком сбирает войско,
Чтоб Искер у нас отнять.
Завтра с богом за работу!
Ты, Гроза, пойдешь к Сузгуну
Со своею всей дружиной
И уж волей иль неволей,
А возьми Махмета-Кула;
Только помни милость бога:
Не губи напрасно всех.
Ты, Кольцо, сиди в Искере,
Береги его для Руси.
Сам же я пойду с другими
На царя того Сейдяка.
Надо кончить поскорее:
Ведь зима не за горой».
Речь Ермак свою окончил;
Встали тихо атаманы:

«Гой, Ермак наш Тимофеич! —
Громко все они вскричали. —
Ты приказывать нам можешь,
Мы послушники твои!»

11

На другой день все казаки
До зари еще вставали,
Сабли, ружья вычищали,
Собиралися на площадь
И в порядке — чином к чину —
Становилися в ряды.
Вот выходит воевода,
Тот Ермак ли Тимофеич,
С атаманами своими,
Низко кланяется войску
И подходит он под знамя
И дает к молитве знак;
И послушно вся дружина,
За вождем склонив колена,
В тишине благоговейной
Молит господа и бога
О победе над врагами,
О спасении царя.
Не долга — сильна молитва!
Вскоре встали все казаки,
Сабли наголо, и дружно
Громким голосом вскричали:
«С нами божеская сила
И угодник Николай!»
Вот Ермак ряды обходит,
Поименно называет
Всех десятников и старших,
Славу Дона поминает
И богатую добычу
И прощение царя.
«Гой, товарищи и братцы!
Вы, казаки удалые!
Лучше честно нам погибнуть,
Чем позорною кончиной

На позорной сгибнуть плахе
И проклятье заслужить».
Шумно тронулись казаки...
То не лебеди, не снеги —
То их парусы белеют;
То не песни соловьины —
То их русские напевы...
Гой вы, братцы! Добрый путь!

12

Не в полудни, не в полночи
Крик орла в выси раздался,
А вечернею порою
Крикнул воин на бойнице,
Той бойнице ли сузгунской,
Где синеется Иртыш.
То не пчелы вылетают
Из улья с своей царицей,
То татары выбегают
С старшиной своим отважным
На высокие на стены
Грозной крепости Сузге.
Вот являются в равнине
Люди храбрые — казаки;
Впереди их воевода.
«Ай да крепость!» — тихо молвит.
«Ай да крепость!» — повторяют
Все казаки про себя.
«Гой, татары и уланы! —
Крикнул громко воевода. —
Коль живыми быть хотите,
Сдайте нам свою ограду;
Коль погибнуть вы хотите,
Не сдавайте нам ее».
— «Гой, неверный воевода!
Прежде солнце потемнеет,
Прежде наш Иртыш великий
Потечет назад к истоку,
Чем сдадим мы вам ограду!» —
Так со стен своих высоких
Отвечает старшина.

13

День седьмой уже проходит.
Утомилися казаки,
Утомилися татары.
«Стыд, когда, не взяв, отступим!»
— «Стыд, когда сдадим ограду!»
Вновь напор, и вновь отпор.
Наконец Гроза с согласья
Всех десятников и старших
Пишет грамоту и просьбу
К Ермаку такою речью:
«Две недели уж проходят,
А мы всё еще не можем
Взять Сузгуна на мечи.
Да и что это за крепость!
Да и что это за люди!
Хоть Махмета не видали,
Но по этому упорству
Думу думаем такую,
Что он, верно, тут сидит.
Ждем приказу войскового —
Что нам делать. Если снова
Ты велишь держать в осаде
Эту крепость, то мы просим
К нам людей прислать побольше —
Малым крепости не взять.
Вот когда бы в чистом поле
Нам схватиться привелося,
Это дело бы другое.
А стена покрепче груди,
Хоть и то мечи порядком
Мы сточили об нее».

14

Снова тянется осада.
Двои сутки так проходят,
А на третьи, темной ночью,
От Махметова улана
В крепость брошена с известьем
Быстроперая стрела.

«Бог совсем татар оставил! —
Так известье начинает.
Три дня ровно, как случилась
Сеча с русскими большая;
Нами правил брат твой храбрый,
Ими властвовал Ермак.
Семь часов та сеча длилась,
А в осьмой твой брат, царица,
Ранен меткою пищалью,
Без главы осталось войско;
Те побиты, те бежали,
А Махмет-Кул взят в полон».
Нет речей в устах царицы!
Нет слезы в глазах несчастной!
А меж тем, как черны тучи,
Думы тяжкие проходят,
Женский ум ее тревожат,
Точат сердце, давят грудь.
О Сузге, краса-царица!
И последняя надежда
На великого Махмета
Вдруг потеряна. Он пленник!
Царь Кучум в степях далёко!
Что ты ждешь еще себе?

15

Ходит бедная царица
По своей опочивальне,
Руки белые ломает,
Взором сумрачным блуждает
И свою тоску-кручину
Так высказывает вслух:
«Знать, то богу так угодно,
Чтоб великое владенье
Повелителя Кучума
Уничтожилось. За что же
Нам беда пришла такая?
Чем прогневали судьбу?
Я вчера была царицей,
А сегодня, может, буду
Русских пленницей, рабою!

И дитя мое... О боже!
И дитя... О нет! Неможно!
Нет, рабой не буду я!
Наш Сузгун довольно крепок,
Нелегко его взять русским;
Много воинов отважных
Стерегут его и кроют.
Может быть — и как знать? — вскоре
Возвратится царь Кучум...
Но сдержать ли малой горсти
Упадающее царство?
Коль разбито наше войско,
Коль Махмета нет уж боле —
Мне ли, женщине, мне ль можно
Честь и царство поддержать?
Если б был еще воитель,
Равный брату в ратном деле,
Всё была б еще надежда;
А теперь сгублю я только
Всех защитников Сузгуна,
И сама — опять в плену!
Что мне делать в этом горе?
Где искать себе спасенья?» —
Так царица говорила,
Заливаяся слезами.
Тут позвать она велела
Старшину к себе в покой.
«Долго ль можем мы держаться?» —
Старшину она спросила.
«Долго ль? Этого не знаю;
Но пока я жив, царица,
Но пока еще хоть двое
Нас останется в Сузгуне,
Русским крепости не взять!»
Тяжко, тяжко ты вздохнула,
О Сузге, краса-царица!
Эта верность! эти чувства!
И его ли ты погубишь!
О, когда б Кучум побольше
Мог иметь таких людей!

16

«Будь здоров, наш воевода!
Милосердием господним
И казацкой нашей силой
Мы побили вновь неверных
На реке на той Вагае,
Где течет она в Тобол.
Пишешь ты, что в том Сузгуне
Махмет-Кул сидит в ограде.
Диво, если это правда, —
А затем, что при Вагае
Взяли мы Махмета-Кула
И старшин его в полон;
И меж прочими вестями
Мы узнали, что в Сузгуне
Правит храбрая царица,
А при ней людей немного
И один лишь старшина.
Это молвим не в обиду:
Крепость, знаем мы, — не поле,
А царица, как слыхали,
Есть сестра Махмета-Кула;
Так не диво, что неможно
Вашей храбрости казацкой
Взять Сузгун тот на мечи.
Да еще одно известье:
Ты, Гроза, теперь нам нужен;
День простой еще на месте,
А потом в Искер сбирайся.
Пусть царица правит местом:
Мы не с нею брань ведем».
— «Прах возьми! — Гроза воскликнул,
Прочитав приказ из войска. —
Нас на смех теперь подымут!
В три недели не умели
Нашей храбростью казацкой
С бабой справиться путем!»

17

Вдруг к нему в палатку входит
Старшина седой татарский
И, не кланяясь и шапки
Не снимая, атаману
Говорит такую речь:
«Слушай речь моей царицы!
Наша храбрая царица
Сдать Сузгун тебе готова,
Если только ты исполнишь
Три условия ее.
Дать нам всем татарам волю —
Это первое условье;
Дать нам судно переехать —
То условие второе;
А последнее условье —
Нам обиды не чинить».
— «Поздно ты пришел с прошеньем! —
Старшине Гроза промолвил,
Радость в сердце сокрывая. —
Через день придет к Сузгуну
С силой многою, большою
Сам начальник наш Ермак.
Он без всяких без условий
Ваш Сузгун возьмет с царицей...»
— «Так условья отвергаешь?» —
Старшина спросил, нахмурясь.
«Нет! — Гроза ему обратно. —
Я согласен их принять.
Но и вы согласны будьте
На одно мое условье:
Пусть все едут безопасно;
Дам вам волю, дам вам судно;
Но пускай царица ваша
Нам отдаст себя в полон».
— «Ты не жди того, неверный! —
Старшина воскликнул гневно. —
Прежде всё вконец погибнет,
Чем мы выдадим царицу!»
— «Это будь по воле вашей, —
Говорит ему Гроза. —
Но еще скажу я слово:

Коль царица согласится
Нам отдаться, пусть опустят
Полумесяц на бойнице.
До зари, никак не больше,
Думу думать вам даю.
Но уж если и с зарею
Не опустят знак бойницы,
Не войду тогда я с вами
Ни в какое перемирье».
— «Пусть нас бог теперь рассудит!» —
Мрачно молвил старшина.

18

Атаман Гроза не сводит
Глаз с высокого Сузгуна;
И надежда и сомненье
Душу воина колеблют.
Солнце клонится на запад...
Вечер... смотрит... спущен знак!
«О владычица святая!
О святой христов угодник!
Знать, казаки вам угодны,
Что желание их сердца
Вы исполнили так скоро», —
Молвил весело Гроза.
Той порой Сузге-царица
Всех рабынь к себе сзывает
И, скрывая грусть весельем,
Говорит им речь такую,
Глядя весело на них:
«Вы, прислужницы-девицы!
Отпирайте кладовые,
Выносите все наряды,
Все каменья дорогие
И царицу наряжайте:
Завтра праздник у меня».
И рабыни отпирают
Кладовые, вынимают
Камни, платья дорогие
И царицу наряжают,
Косу пышную плетут.

Слезы катятся ручьями
У прислужниц, но ни слова
Ей девицы не промолвят.
Им известно, что царица
Для свободы их сдается
В плен начальнику чужому, —
Жаль им доброй госпожи.
Вот окончены наряды,
И прекрасная царица
Всех прислужниц равной долей
Своеручно наделяет,
Раздает им все богатства
И целует порознь их.
Тут зовет к себе в светлицу
Старшину того седого,
Благодарствует за службу
И велит отдать отряду
Всю казну свою большую,
И от имени царицы
Благодарствовать велит.

19

Ночь покрыла мраком небо,
Землю тьмою обложила.
Спят казаки, спят татары;
Лишь не спит в своей светлице
Несчастливица царица,
Одинокая Сузге.
Перед ней горит светильник
И, бросая свет дрожащий,
Освещает ту палату
И роскошное убранство,
И блестящую одежду,
И печальную Сузге.
О Сузге, краса-царица!
Тяжела тебе ночь эта!
Ты сидишь на мягком ложе,
Опустив на грудь головку
И сложа печально руки
На трепещущей груди;

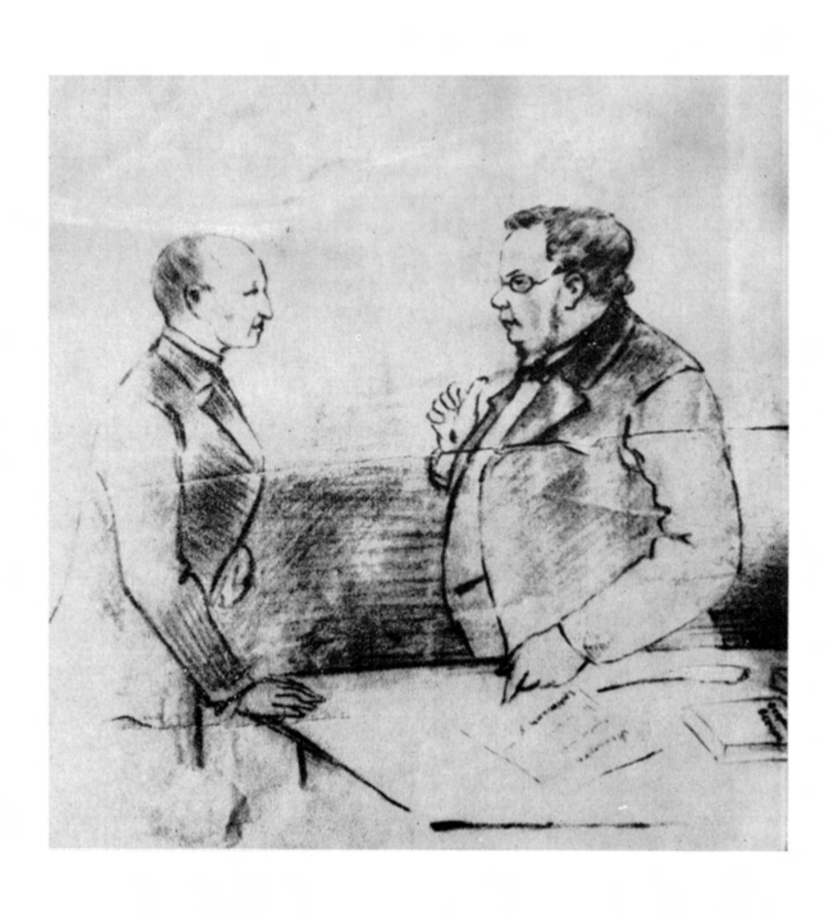
Ты одета, как невеста,
В драгоценные одежды, —
Но глаза твои не блещут
Предрассветною звездою,
Но уста твои не пышут
Цветом розы и любви.
Дума черная, как полночь,
Обвила твой ум, царица,
И тоска, как червь могильный,
Точит сердце молодое.
Велика твоя невзгода!
Тяжела твоя судьба!
Но прими к себе надежду:
Русский царь великодушен —
Он смягчит твое несчастье,
Усладит твою кручину;
Не рабою, но царицей
Почестят тебя в Москве.
О, когда б прошла скорее
Эта ночь твоей печали!
Недвижима и безмолвна
Всё сидит Сузге-царица.
Нет речей для утешенья!
Нету мысли для надежды!
Будто смерти вещий голос
Тихо носится над ней.
Вот блеснул в ее светлице
Светлый луч зари восточной.
«О мой бог! меня помилуй!» —
Тяжко вскрикнула царица
И упала на подушки,
Задыхаяся от слез.

20

Встало солнце. Пробудились
И казаки, и татары.
Ясный день для всех восходит,
Льет на всех равно сиянье;
Но не все равно встречают
Солпца красного восход!

Вот Гроза к стенам подходит
С удалой своей дружиной;
Вот татары отворяют
Неприступные бойницы
И вослед за старшиною
Безоружные идут.
Мрачно сходят вниз татары,
Озираяся на стены
И на крепкие бойницы;
Плачут царские девицы,
Обращая взор печальный
На оставленный Сузгун.
А с бойницы той порою,
Скрыв лицо свое покровом,
Одинокая царица
Грустно смотрит отступленье;
Грудь волнуется тоскою,
Но слезы уж нет в глазах.
«Слушай, храбрый воевода! —
Старшина седой промолвил,
Поравнявшися с Грозою. —
Если честь тебе известна,
Ты с царицею поступишь,
Как приличие велит».
— «Будь спокоен, храбрый воин! —
Старшине в ответ промолвил
Атаман Гроза казачий. —
Наша Русь славна издревле
К роду царскому любовью —
И в других его почтит»
Вот изгнанники проходят
Чрез широкую равнину;
Вот реки они достигли;
Вот взошли они на судно;
Поклонилися Сузгуну
И исчезли вдалеке.
«Путь счастливый вам! — сказала
Грустная Сузге-царица,
Обвела вокруг глазами,
И, вздохнувши тяжко-тяжко,
С неприступной той бойницы
Тихо вниз она сошла.





21

Входят весело казаки
В крепость грозную Сузгуна;
Впереди их воевода —
Атаман Гроза, и молча
Он прилежно озирает
Покорившийся Сузгун.
Вот идет он в терем царский —
Словом ласковым приветить
Несчастливую царицу;
Но в палатах царских пусто.
Он обходит всё строенье —
Но царицы нет нигде.
«Где ж она?» — Гроза подумал,
И большое подозренье
В грудь казацкую запало;
Злой укор в устах теснится...
Вдруг увидел он царицу
И укор свой удержал.
Под наклоном пихт душистых,
Прислоняся головою
К корню дерева, сидела
Одинокая царица;
Вьется ветром покрывало,
Руки сложены на грудь.
Атаман к Сузге подходит,
Перед ней снимает шапку,
Низко кланяется, молвит:
«Будь спокойна ты, царица!
Мы казаки, а не звери,
Мы уважим царский сан.
Бог нам дал теперь победу,
Так грешно бы нам и стыдно,
Милость бога презирая,
Обижать тебя, царица.
Ты о плене позабудешь —
Слово честное даю».
Но напрасно воевода
Ждет ответа от царицы.
Изумлен ее молчаньем,
Подошел он к ней поближе...

Тихо поднял покрывало —
И поспешно отступил.
Матерь божия! не сон ли
Видит он? В лице нет жизни:
Щеки бледностью покрыты,
Льется кровь из-под одежды,
И в глазах полузакрытых
Померкает божий свет.
«Что ты сделала, царица?» —
Вскрикнул громко воевода,
Кровь рукою зажимая.
Вдруг царица задрожала,
На Грозу она взглянула...
Это не был взор отмщенья,
Это был последний взор!

22

Под наклоном пихт душистых
Собралися все казаки,
И стоят они без шапок;
Два урядника отряда
Насыпают холм могильный.
Тишина лежит кругом.
Вот обряд печальный кончен.
Поклонясь сырой могиле,
Говорит Гроза казакам:
«Гой, товарищи-казаки!
Здесь нам нет уж больше дела,
Снаряжайтесь на Искер!

. . . .

Ночь спустилася на землю,
Ветер воет на дубраве,
Гонит тучи дождевые,
А Иртыш о круть утеса
Плещет звонкою волной.
Распустив свои ветрила,
Едут добрые казаки.
Льется песня их живая,
Что про матушку про Волгу,
Что про Дон их, Дон родимый,
Что про славу казака.

А вдали, клубясь волнами,
Блещет пламя над Сузгуном —
На стенах его высоких,
На крутых его бойницах...
Рдеет небо полуночи!
Блещут волны Иртыша!

1837
Тобольск

35. К ДРУЗЬЯМ

Други, други! не корите
Вы укорами меня!
Потерпите, подождите
Воскресительного дня!

Он проглянет — вновь проснется
Сердце в сладкой тишине,
Встрепенется, разовьется
Вольной пташкой в вышине.

С красным солнцем в небо снова
Устремит оно полет
И в час утра золотого
В сладкой песне расцветет.

Мир господень так чудесен!
Так отраден вольный путь!
Сколько зерен звучных песен
Западет тогда мне в грудь!

Я восторгом их обвею,
Слез струями напою,
Жарким чувством их согрею,
В русской речи разолью.

И на звук их отзовется
Сердце юноши тоской,
Грудь девицы всколыхнется,
Стают очи под слезой.

1837

36. МУЗЫКА

Как небо южного восхода,
Волшебный храм горит в огнях.
Бегут, спешат толпы народа,
«Роберт, Роберт!» — у всех в устах.
Вхожу. Разлив и тьмы и света.
В каком-то дыме золотом
Богини невского паркета
Роскошным зыблются венком.
Вот подан знак. Как моря волны,
Как голос мрака гробовой,
Звук Мейербера, тайны полный,
Прошел над внемлющей толпой.
Всё в слух. Могильное молчанье,
Как гений, над толпой парит.
В каком-то мрачном ожиданье
Душа томится и кипит.
И тчется звуков сеть густая,
И тяжким облаком свилась.
По ней, прерывисто сверкая,
Трель огневая пронеслась.
Не так ли в мраке непогоды,
Огонь по ребрам туч лия,
Скользит зубчатый меч природы —
Молниеносная струя?

Мир чудесный! мир мечтанья!
Рай земной небесных муз!
Чувств и звуков сочетанье
В гармонический союз!
Лейтесь, лейтесь с неба, звуки!
Как отрадно в вас мечтать
И в томленьях сладкой муки
Умирать и оживать!
Как отрадно в этом море
Волн гармонии живых
Забывать земное горе
И задумываться в них!
Улетать за вольным звуком
В область солнцев и чудес
И приникнуть жадным слухом

На гармонию небес!
Упиваться их дыханьем,
Звучный бисер их ловить
И на вспаханной страданьем
Ниве сердца хоронить!
Чу! как ропот отдаленный
Волн, гремящих о скалы,
Иль стенание гиены
В тайный час полночной мглы —
Слышны звуки... Страшен голос
Этой речи! Мрак в очах!
Холод в сердце... Дыбом волос...
Вздох мертвеет на устах...
Звуки ноют, звуки стонут,
Воплем чувства душу рвут,
То в гармонии потонут,
То в мелодии заснут...
Вдруг, по взмаху чародея
Светлых звуков легкий рой,
Золотые искры сея,
Хлынул звонкою волной, —
То свернутся мягкой дымкой,
То рассыплются в лучах,
То промчатся невидимкой
На зефировых крылах.
Блещут молнии зарями
На аккордов мрачных сонм
И, осыпав всех цветами,
Исчезают легким сном...
Слыша звуки, я порою
У небес молю благих
Засыпать под их игрою
И проснуться вновь для них.

1837

37. К МУЗЕ

Прошла чреда душевного недуга;
Восходит солнце прежних дней.
Опять я твой, небесная подруга
Счастливой юности моей!

Опять я твой! Опять тебя зову я,
Покой виновный мой забудь
И, светлый день прощенья торжествуя,
Благослови мой новый путь!

Я помню дни, когда, вдали от света,
Беспечно жизнь моя текла,
Явилась ты с улыбкою привета
И огнь небес мне тихо в грудь влила.
И вспыхнул он в младенческом мечтанье,
В весенних грезах, чудных снах,
И полных чувств живое излиянье —
Речь мерная дрожала на устах.
Рассеянно, с улыбкою спокойной
Я слушал прозы склад простой;
Но весело, внимая песни стройной,
Я хлопал в такт ребяческой рукой.
Прошла пора, и юноша счастливый
Узнал, что крылося в сердечной глубине;
Я лиру взял рукой нетерпеливой,
И первый звук ответил мне.
О, кто опишет наслажденье
При первом чувстве силы в нас!
Забилось сердце в восхищенье,
И слезы брызнули из глаз.
«Он твой — весь этот мир прекрасный!
Бери его и в звуках отражай!
Ты гордый царь с улыбкою всевластной,
Сердцами всех повелевай!»
Внимая гордому сознанью,
Послушный звук со струн летел:
И речь вилась цветущей тканью,
И вдохновеньем взор горел.
Я жил, надеждами богатый...
Как вдруг, точа весь яд земли,
Явились горькие утраты
И в траур струны облекли.
Напрасно в дни моей печали
Срывал я с них веселый звук:
Они про гибель лишь звучали,
И лира падала из рук.
Прощайте ж, гордые мечтанья!

И я цевницу положил
Со стоном сжатого страданья
На свежий дерн родных могил.
Минули дни сердечной муки,
Вздохнул я вольно в тишине,
И прежних дней живые звуки
Мечтались мне в неясном сне.

Но вдруг — в венце небесного смиренья,
Блистая тихою, пленительной красой,
Как светлый ангел утешенья,
Она явилась предо мной.
Простой покров земной печали
Ее воздушный стан смыкал;
Уста любовию дышали,
И взор блаженство источал.
И был тот взор — одно мгновенье,
Блеснувший луч, мелькнувший сон;
Но сколько в душу наслажденья,
Но сколько жизни пролил он!
С тех пор мелькает предо мною
Чудесный образ красоты,
Волнует сладко грудь тоскою
И красит радугой мечты.
И день и ночь мне чудится стан гибкой,
Небесная гармония речей,
Уста прелестные с задумчивой улыбкой
И тихий блеск пленительных очей.
Я полон весь прекрасного виденья!
Палящий жар течет в моей крови,
И сердце просит вдохновенья
Безмолвным трепетом любви.

Прошла чреда душевного недуга;
Восходит солнце новых дней.
Опять я твой, небесная подруга
Счастливой юности моей!
Сойди ж ко мне, обвей своим дыханьем!
Согрей меня небесной теплотой!
Взволнуй мне грудь святым очарованьем!
Я снова твой! Я снова твой!

Я вновь беру забытую цевницу,
Венком из роз, ликуя, обовью,
И буду петь мою денницу,
Мою звезду, любовь мою!
Об ней одной с зарей Востока
В душе молитву засвечу
И, засыпая сном глубоко,
Ее я имя прошепчу.
И верю я, невинные желанья
Мои исполнятся вполне:
Когда-нибудь в ночном мечтанье
Мой ангел вновь предстанет мне.
А может быть (сказать не смею),
Мой жаркий стих к ней долетит,
И звук души, внушенный ею,
В ее душе заговорит.
И грудь поднимется высоко,
И мглой покроются глаза,
И на щеке, как перл Востока,
Блеснет нежданная слеза!..

4 сентября 1838
Тобольск

38. ПРАЗДНИК СЕРДЦА

О светлый праздник наслажденья!
Зерно мечтаний золотых!
Мне не изгладить впечатленья
Небесных прелестей твоих.
Они на внутренней скрижали,
На дне сердечной глубины,
Алмаза тверже, крепче стали
Резцом любви проведены.
И с каждым трепетом дыханья,
И с каждым чувством бытия
Святые дни воспоминанья
В моей душе читаю я.
Но, чуждый черных света правил,
Я стража чистой красоты
К вратам души моей приставил:
То — скромность девственной мечты.

И никогда в ней взор лукавый
Заветной тайны не прочтет
И для бессмысленной забавы
В толпе пустой не разнесет.

10 сентября 1838
Тобольск

39. ДВЕ МУЗЫ

С первой искрою сознанья
Поэтической мечты
Я живу в цепях влиянья
Двух наперсниц красоты.
Я покорен их веленью;
На призывный голос их
Верным эхом в то ж мгновенье
Откликается мой стих.
Без него ж, как в сени гроба,
Сердце дремлет в тишине...
Но не вместе, а особо
Мне являются оне.
Власть равна их надо мною,
И задолго наперед
Я предчувствую душою
Их властительный приход.

Так порой в тоске глубокой
Вольной грудью вдруг вздохну
И вокруг себя далёко
Ясным взором я взгляну.
Наслажденьем в душу канет
Жизни светлая струя,
И с улыбкой мне предстанет
Муза первая моя.
Дышит негой грудь царицы,
Зноем чувств уста горят,
Сквозь шелко́вые ресницы
Пылкой страстью блещет взгляд.
И, лилейною рукою
Быстро вскинув шелк кудрей,

Станет муза предо мною
В полноте красы своей.
Весь в роскошном чувстве млея,
Жаждой прелести томим,
Остаюсь я перед нею
Безответен, недвижим...
Вдруг волшебница снимает
Разноцветный с плеч убор
И, ласкаясь, накрывает
На меня воздушный флер.
Вмиг светлее пред глазами
Возникает мир иной —
Мир, увенчанный цветами!
Мир поэзии земной!
Безграничная картина!
Небо, воздух и земля —
Всё здесь слито воедино
В цвет прекрасный бытия!
Всюду светлою волною
Плещет сердца глубина,
И дрожит всей полнотою
Жизни звучная струна!
Тает грудь от наслаждений,
И, роскошествуя в них,
Мощь цветущих песнопений
Бьет ключом стихов живых.

А в иные дни, средь шума
Веселящихся гостей,
Ляжет нá сердце мне дума
Мрачной полночи мрачней.
Всё темнеет предо мною,
Скучен, дик веселый пир,
Отзываются тоскою
Звон стекла и звуки лир.
И, покорный управленью
Повелительной руки,
Я спешу в уединенье
Пить до капли яд тоски.
Ноет сердце, ожидая
Новой музы... И она

Предстает ко мне, вздыхая,
Будто лилия бледна.
Томный взор повит слезою,
На устах печаль лежит,
Под душевною грозою
Грудь прекрасная дрожит.
Вдруг страдалица, с улыбкой
Руку сжав мне горячо,
Как от ветра колос гибкой,
Припадет мне на плечо.
Долго грустными очами
Мне в глаза она глядит
И дрожащими устами
Что-то сердцу говорит.
Льется в душу тихий шепот
Вдохновительных речей,
Как разлуки грустный ропот,
Как напев в тиши ночей.
Слыша сердцем эти звуки,
Я не помню сам себя,
Изнываю в сладкой муке
И блаженствую, скорбя.
А она всё развивает
Черный креп свой предо мной
И, вздыхая, опускает
Над моею головой.
Я смотрю, и мир унылый
Глыбой мертвою лежит.
Пред открытою могилой
Молодая жизнь стоит,
Вьет венок из роз и терний...
А над грудами костей
Слышен хохот грубой черни
И стенания людей...
Рвется грудь моя тоскою;
И в страданиях немых
Поэтической слезою
Тихо катится мой стих.

12 сентября 1838

40—41. *ОСЬМИСТИШИЯ*

1

Сон миновался души. Снова живу я.
Есть для меня на земле радость и счастье.
Радость приносит цветы на жертвенник сердца,
А счастье готово излить на них ароматы.
Феникс родился из пепла, о други! Я верю,
Искра огня Прометея уж пала на жертву;
Миг — и радужно вспыхнет она, и сердца
Алтарь запылает святым огнем возрожденья.

9 октября 1838

2

СЛЕЗЫ

Сладостны слезы для сердца в тоске безотрадной.
Есть они у меня, но жалко мне их проливать.
Раны души облегчил бы я ими, я знаю,
А все-таки их берегу я до лучшей поры.
Фиал многоценный души я всё наполняю слезами
И жду той минуты, когда, жизни и чувств в полноте,
Млея, паду я на грудь к моей ненаглядной,
А сердце забьется, заплещет и брызнет алмазным
ключом.

24 октября 1838

42. ШАТЕР

Помост его — зеленая равнина;
Ковры цветов раскинуты на нем:
Здесь снег лилей, тут пурпур розмарина,
А там зерно в отливе золотом.

От всех сторон над ним сафирным сводом
Наклон небес торжественно навис;
А по краям зубчатым переходом
Идет лесов готический карниз.

То лентами, то цвѐтною волною
Сгиб облаков на пологе бежит;
А наверху светило золотое,
Как легкий шар, блистательно горит.

11 октября 1838

43. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ

Няня, что это такое
Нынче сделалось со мной?
Изнывает ретивое
Под неведомой тоской.

Всё кого-то ожидаю,
Всё об ком-то я грущу;
Но не знаю, не сгадаю,
Что такое я ищу.

Помнишь, няня, как, бывало,
В светлом тереме моем
Я резвилась, распевала,
Не заботясь ни о чем.

А теперь твоя шалунья
Пригорюнившись сидит:
Пало на душу раздумье,
Сердце ноет и болит.

Смех подружек мне досаден,
Игры их не веселят,
И нестатен, непригляден
Мне мой праздничный наряд.

Нет мне солнца в полдень ясный,
Мир цветет не для меня,
Опостыл мне терем красный,
Опостыла жизнь моя.

Няня! няня! Что за чудо
Нынче сделалось со мной?
Что — добро оно иль худо
Мне пророчит, молодой?

14 октября 1838

44. СОН

Друзья! Я видел сон чудесный.
Но что такое значит он?
Глашатай воли он небесной
Или пустой, житейский сон,
Души тревожное движенье,
Одна игра воображенья?
Судите вы.

Мечталось мне,
Что я стою на вышине
Холма крутого. Под ногами,
Среди акаций и берез,
Ручей в венке из пышных роз
Журчал игривыми струями
И, отражая небо, нес
Живые перлы горных слез
И исчезал в дали незримой.
А там вблизи, гремя о скат
Холма волной неукротимой,
Как буря, лился водопад,
Вставал столбами млечной пены,
Дробился пылью голубой
И на границе отдаленной
В морскую грудь, боец надменный,
Вливался бурною рекой.

Один, задумчивый, безмолвный,
Я на холме крутом стоял
И с струй ручья на бурны волны
Мой жадно взор перебегал.
Мечта сменялася мечтою:
То светлых струй своих игрою
Меня манил к себе ручей;
Я любовался красотою
Его зыбей, его полей:
«Как всё спокойно здесь, как мило!
Когда прошла бы жизнь моя,
Как струйка этого ручья,
От колыбели до могилы!» —
Так думал я. Но вскоре шум

И блеск нагорного потока
Своей поэзией высокой
Другую мысль вливали в ум;
И эта мысль была кипуча,
Как водопад, была сильна,
Как бездны бурная волна.

Вдруг, мнится мне, из недра тучи
Раздался голос громовой:
«Смотри! Две жизни пред тобой:
Избрать тебе даю свободу.
Пойми, узнай свою природу,
И там немедля выбирай.
Ручей — безвестной жизни рай,
Поток — величия зерцало!»
Сказал — и снова тишина!
И пробудился я от сна.

3 декабря 1838

45. ПЕРЕМЕНА

Проходят дни безумного волненья,
Душа зовет утраченный покой.
Задумчиво уж чашу наслажденья
Я подношу к устам моим порой.

Иная мысль в уме моем теснится,
Иное чувство движет грудь.
Мне вольный круг цепями становится,
Хочу в тиши семейной отдохнуть.

Исчез обман мечты самолюбивой,
Открылась вся дней прежних пустота.
Другую мне рисует перспективу
В дали годов спокойная мечта.

Домашний кров... Один или два друга...
Поэзия... Мена простых затей...
А тут любовь... прекрасная подруга
И вкруг нее веселый круг детей.

9 декабря 1838

46. ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ ЦВЕТОК

Утро дохнуло прохладой. Ночные туманы, виясь,
Понеслися далёко на запад. Солнце приветно
Взглянуло на землю. Всё снова живет и вкушает
Блаженство. Но ты не услышишь уж счастья,
О замок моих прародителей! Пусть солнце
Своим лучом золотит шпицы башен твоих,
Пусть ветер шумит в твоих стенах опустелых,
Пусть ласточка щебечет под высоким карнизом
Веселую песню, — ты не услышишь уж жизни
И счастья. Склоняся уныло над тихой долиной,
Башни твои как будто смотрят на эту могилу,
Где схоронено всё, что тебя оживляло.
О, если б подслушать, что говорит одинокая ель
над тобою,
Зачем преклоняет к земле вершину свою
И слезы росы отрясает с листьев своих!
О, если б прочесть, что мох начертал на стенах
опустелых,
Много бы, много сказали эти тайные буквы;
Их поняло б сердце, мечта бы их полюбила,
И чувство, глубокое чувство их затаило.

16 марта 1839

47. ДРУЗЬЯМ

Друзья! Оставьте утешенья,
Я горд, я не нуждаюсь в них.
Я сам в себе найду целенья
Для язв болезненных моих.
Поверьте, я роптать не стану
И скорбь на сердце заключу,
Я сам нанес себе ту рану,
Я сам ее и залечу.
Пускай та рана грудь живую
Палящим ядом облила,
Пускай та рана, яд волнуя,
Мне сердце юное сожгла:
Я сам мечтой ее посеял,
Слезами сладко растравлял,

Берег ее, ее лелеял —
И змея в сердце воспитал.
К чему же мой бесплодный ропот?
Не сам ли терн я возрастил?
Хвала судьбе! Печальный опыт
Мне тайну новую открыл.
Та тайна взор мой просветлила,
Теперь загадка решена:
Коварно дружба изменила,
И чем любовь награждена?..
А я, безумец, в ослепленье
Себя надеждами питал,
И за сердечное мученье
Я рай для сердца обещал.
Мечта отрадно рисовала
Картину счастья впереди,
И грудь роскошно трепетала,
И сердце таяло в груди.
Семейный мир, любовь святая,
Надежда радостей земных —
И тут она, цветок из рая,
И с нею счастье дней моих!
Предупреждать ее желанья,
Одной ей жить, одну любить
И в день народного признанья
Венец у ног ее сложить.
«Он твой, прекрасная, по праву!
Бессмертной жизнию живи.
Мое ж всё счастие, вся слава
В тебе одной, в твоей любви!»
Вот мысль, которая живила
Меня средь грустной пустоты
И ярче солнца золотила
Мои заветные мечты...
О, горько собственной рукою
Свое созданье истребить
И, охладев как лед душою,
Бездушным трупом в мире жить,
Смотреть на жизнь бесстрастным оком,
Без чувств — не плакать, не страдать,
И в гробе сердца одиноком
Остатков счастия искать!

Но вам одним слова печали
Доверю, милые друзья!
Вам сердца хладного скрижали,
Не покраснев, открою я.
Толпе ж, как памятник надгробный,
Не отзовется скорбный стих,
И не увидит взор холодный
Страданий внутренних моих.
И будет чуждо их сознанья,
Что кроет сердца глубина —
И дни, изжитые в страданье,
И ночи жаркие без сна.
Не говорите: «Действуй смело!
Еще ты можешь счастлив быть!»
Нет, вера в счастье отлетела,
Неможно дважды так любить.
Один раз в жизни светит ясно
Звезда живительного дня.
А я любил ее так страстно!
Она ж... любила ли меня?
Для ней лишь жизнь моя горела
И стих звучал в груди моей,
Она ж... любовь мою презрела,
Она смеялася над ней!
Еще ли мало жарких даней
Ей пылкий юноша принес?
Вы новых просите страданий,
И новых жертв, и новых слез.
Но для того ли, чтобы снова
Обидный выслушать ответ,
Чтоб вновь облечь себя в оковы
И раболепствовать?.. О нет!
Я не унижусь до молений,
Как раб, любви не запрошу.
Исток души, язык мучений
В душе, бледнея, задушу...
Не для нее святая сила
Мне пламень в сердце заключила,
Нет, не поймет меня она!
Не жар в груди у ней — могила,
Где жизнь души схоронена.

Июнь 1839

48. ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Воет ветер, плачут ели,
Вьются зимние метели;
Бесконечной пеленой
Виснет хмара над страной.
Ни ответа, ни привета, —
Лишь порою глыба света
Дивной радуги игрой
Вспыхнет тихо за горой;
Лишь порою, дея чары,
Глянет месяц из-за хмары,
Словно в повязи венца
Лик холодный мертвеца.
Скучно! Грустно! Что же, други,
Соберемтесь на досуге
Укоро́тить под рассказ
Зимней скуки долгий час!
Пусть в пылу бессильной злобы
Вьюга вьет, метет сугробы;
Пусть, могильный часовой,
Ворон плачет над трубой;
Что нам нужды? Мы содвинем
Круг веселый пред камином
И пред радостным огнем
Песнь залетную споем;
Сок янтарный полной чаши
Оживит напевы наши,
И под холодом зимы
Юг роскошный вспомним мы.

1839
Тобольск

49. КЛАД ДУШИ

Богач! К чему твои укоры?
Зачем, червонцами звеня,
Полупрезрительные взоры
Ты гордо бросил на меня?
О нет! Совсем не беден я!

Меня природа не забыла:
Богатый клад мне подарила.
О, если б мог ты заглянуть
В мою сокровищницу — грудь!
Твой жадный взор бы растерялся
В роскошной сердца полноте,
И ты бы завистью снедался
К моей богатой нищете.
Смотри: я грудь мою раскрою,
Раскрою сердца глубину
И этой бедною рукою
Богач, рассыплю пред тобою
Мою несметную казну.
Цени ж!..
Вот здесь сапфир бесценный —
Святая вера. В мраке дней,
В тумане бед, во тьме скорбей
Он жарко льет душе смущенной
Отрадный блеск своих лучей.
Не мощь земли его родила,
Излит небесным он огнем,
И чудодейственная сила
Таинственно хранится в нем.
Он мне блестит звездой завета,
В молитве теплится свечой;
Любви духовной в царстве света
Он обручальный перстень мой.
Когда ж в чаду страстей дыханья
Потускнет грань его, одна
Слеза святая покаянья
Смывает туск его пятна.
И в день, как кончится тревога
Мятежной жизни, может быть,
Могу я им к престолу бога
Свободный доступ искупить.
Вот перлы здесь — *живые чувства*
К чудесным мира красотам,
К высокой прелести искусства,
Ко вдохновительным мечтам.
Всмотрись, богач, в мои монисты:
В них нет пылинки для хулы;

Они, как снег нагорный, чисты,
Как небо божие, светлы!
Они богатою звездою
Лежат на сердце у меня
И блещут чудною игрою
В лучах душевного огня.
Я с каждым днем их украшаю
И кистью творческой мечты
На блеск их яркой чистоты
Живое золото снимаю
С богатой нивы красоты.

А вот, как бриллиант Востока,
В мильоны искр огранено,
Лежит на сердце одиноко
Любви окатное зерно,
На самом дне груди сокрыто
До роковой своей поры,
Оно таинственно повито
Слоями тусклыми коры.
Но миг — кора с него спадает,
Оно льет свет и теплоту
И в чудных видах отражает
Земное небо — красоту.
Волной тревожной в сердце бьется,
Сверкает пламенем в глазах,
В огне румянца тихо льется
И дышит жаром на устах!

Скажи, богач, еще ли мало
Тебе богатств? Ужель велишь
Еще откинуть покрывало
С других сокровищ? .. Так смотри ж!

Вот славы здесь венец блестящий,
Вот чести пояс золотой,
Вот жезл фантазии творящей,
Вот яхонт верности святой!
А эти радужные ткани,
Богатство внутренних одежд —
Глубоких сердца упований
И сердца ветреных надежд?

А ключ кипящий песнопенья?
А слез, небесных слез родник?
А грусти сладкие мученья?
А светлых помыслов цветник?

Теперь раскрой передо мною
Богатство, равное с моим,
И я покорной головою
Склонюсь смиренно перед ним.

⟨1840⟩

50. ЭКСПРОМТ

Чуждый бального веселья,
В тишине один с собой,
Я играю от безделья
Поэтической игрой.

Пусть в веселый вихорь танца
Юность резвая летит
И под мерный такт каданса
Ножка легкая кружит.

Пусть кипучею волною
В страстной неге дышит грудь
И роскошной полнотою
Соблазнит кого-нибудь...

Огражденный от соблазна
Ранней опытностью лет,
Я смотрю, как зритель праздный,
На волнующий их свет.

«Веселитесь, — я мечтаю, —
Дважды юность не цветет...
Пусть надежда золотая
Вас цветами уберет!

Пусть любви очарованье
Эти розы возрастит
И житейский мрак страданья
В жаркий луч позолотит».

11 октября 1840

51. В АЛЬБОМ С. П. Ж(ИЛИНОЙ)

Как часто с родственным участьем
Об вас задумчиво я небо вопрошал,
Вас оделял возможным в мире счастьем
И счастье тихое в глазах у вас читал.
Да, вас судьба благословила,
Вам душу мирную дала,
Во взоре ясность засветила
И в сердце радость низвела.
Вам суждено без непогоды
Земное море пережить,
Цветами дней отметить годы
И, быв любимой, жизнь любить.
О, тот счастлив, кто вас узнает,
Кто вас полюбит от души:
Он полным сердцем испытает
Весь рай семейственной души.

1840

52—57. *МОЯ ПОЕЗДКА*

1

ВЫЕЗД

Город бедный! Город скушный!
Проза жизни и души!
Как томительно и душно
В этой мертвенной глуши!
Тщетно разум бедный ищет
Вдохновительных идей;
Тщетно сердце просит пищи
У безжалостных людей.

Изживая без сознанья
Век свой в узах суеты,
Не поймут они мечтанья,
Не оценят красоты.
В них лишь чувственность без чувства,
Самолюбье без любви,
И чудесный мир искусства
Им хоть бредом назови...
Прочь убийственные цепи!
Я свободен быть хочу...
Тройку, тройку мне — и в степи
Я стрелою полечу!
Распахну в широком поле
Грудь стесненную мою
И, как птичка, я на воле
Песню громкую спою.
Звучно голос разольется
По волнам цветных лугов;
Мне природа отзовется
Эхом трепетных лесов.
Я паду на грудь природы,
Слез струями оболью
И священный день свободы
От души благословлю!

2

ПОЛЕ ЗА ЗАСТАВОЙ

Пал шлагбаум! Мы уж в поле...
Малый, сдерживай коней!
Я свободен!.. Я на воле!..
Я один с мечтой моей!
Дай подольше насладиться
Этой зеленью лугов!
Дай вздохнуть мне, дай упиться
Сладким воздухом цветов!..
Грудь, стесненная темницей,
Распахнулась — широка.
Тише, сердце! Вольной птицей
Так и рвется в облака...

Как чудесна мать-природа
В ризе праздничной весны —
С дальней выси небосвода
До подводной глубины!
Широка, как мысль поэта,
Изменяясь, как Протей,
Здесь она — в разливе света,
Там — в игре живых теней.
То картина, то поэма,
И везде красы полна,
Светлым зеркалом эдема
Раскрывается она.
Всё в ней — жизнь, и свет, и звуки:
Подходи лишь только к ней
Не с анализом науки,
А с любовию детей!

3

ПЕСНЯ ПТИЧКИ

Чу! в черемухе душистой
Без печали, без забот,
Перекатно, голосисто
Птичка вольная поет.
Легкокрылая певица!
Где, скажи, ценитель твой?
Для кого твой звук струится
Мелодической волной?
Слышу — птичка отвечает:
«Я пою не для людей,
Звук свободный вылетает
Лишь по прихоти моей.
Мне похвал ничьих не надо;
Слышат, нет ли — что нужды?
Сами песни мне награда
За веселые труды.
Я ценителей не знаю,
Да и знать их не хочу;
Коль поется — распеваю,
Не поется — я молчу.
Я свободна; что мне люди!

Стану петь мой краткий срок:
Был бы голос в легкой груди,
Было б солнце да лесок».
Пой, воздушная певица!
Срок твой краток, но счастлив.
Пусть живой волной струится
Светлых звуков перелив!
Пой, покуда солнце греет,
Рощи в зелени стоят,
Юг прохладой сладкой веет
И курится аромат!

4

СКОРАЯ ЕЗДА

Вот дорога столбовая
В перспективной красоте,
По холмам перебегая,
Исчезает в высоте.
Что за роскошь, что за нега
Между поля и лесов
В вихре молнийного бега
Мчаться прытью скакунов!
Прихотливо прах летучий
Темным облаком свивать
И громаду пыльной тучи
Светлой искрой рассекать!
С русской мочною отвагой
Беззаботно с вышины
Низвергаться в глубь оврага
Всем наклоном крутизны!
И опять, гремя телегой
По зыбучему мосту,
Всею силою разбега
Вылетать на высоту!..
Сердце бьется, замирает...
Чуть-чуть дух переведешь...
И по телу пробегает
Упоительная дрожь.

Хочешь дольше насладиться —
Хочешь ветер обогнать...
Но земная грудь боится
Бег небесный испытать.

5

ДОРОГА

Тише, малый! Близко к смене;
Пожалей коней своих, —
Посмотри, они уж в пене,
Жаркий пар валит от них.
Дай вздохнуть им в ровном беге,
Дай им дух свой перенять;
Я же буду в сладкой неге
Любоваться и мечтать.
Мать-природа развивает
Предо мною тьму красот;
Беглый взор не успевает
Изловить их перелет.
Вот блеснули муравою
Шелковистые луга
И бегут живой волною
В переливе ветерка;
Здесь цветочной вьются нитью,
Тут чернеют тенью рвов,
Там серебряною битью
Осыпают грань холмов.
И повсюду над лугами,
Как воздушные цветки,
Вьются вольными кругами
Расписные мотыльки.
Вот широкою стеною
Поднялся ветвистый лес,
Обхватил поля собою
И в седой дали исчез.
Вот поскотина; за нею
Поле стелется; а там,
Чуть сквозь тонкий пар синея,
Домы мирных поселян.

Ближе к лесу — чистополье
Кормовых лугов, и в нем
В пестрых группах на раздолье
Дремлет стадо легким сном.
Вот залесье: тут светлеет
Нива в зелени лугов,
Тут под жарким небом зреет
Золотая зыбь хлебов,
Тут, колеблемый порою
Перелетным ветерком,
Колос жатвенный в покое
Наливается зерном.
А вдали, в струях играя
Переливом всех цветов,
Блещет лента голубая
Через просеку лесов.

6

ГРОЗА

Вот уж с час — к окну прикован,
Сквозь решетчатый навес
Я любуюсь, очарован,
Грозной прелестью небес.
Море туч, клубясь волнами,
Затопило горний свод
И шумит дождей реками
С отуманенных высот.
Гром рокочет, пламя молний
Переломанной чертой
Бороздит седые волны
Черной тучи громовой.
Чудодейственная сила
Здесь на темных облаках
Тайный смысл изобразила
В неизвестных письменах.
Счастлив тот, кто чистым оком
Видит мир, кому дана
Тайна — в помысле глубоком
Разобрать те письмена.

Не с боязнью суевера,
Не с пытливостью ума,
Но с смиреньем чистой веры
Он уловит смысл письма.
Чу, ударил гром летучий,
Гул по рощам пробежал,
И, краса лесов дремучих,
Кедр столетний запылал!
Старец дряхлый! Как прекрасна,
Как завидна смерть твоя!
Ты погиб в красе ужасной
От небесного огня.
Ты погиб, но, гордый, силу
В час последний сохранил
И торжественно могилу
Чудным блеском озарил.
Видя труп твой почернелый,
Зверь свирепый убежит
И далекие пределы
Диким воем огласит.

1840

58—60. *Отрывки*

1

Один, спокоен, молчалив,
Лежал я ночью в поле чистом,
И надо мной шатром тенистым —
Небес безоблачный разлив.
Мой дух с какою-то отрадой
Стремился ввысь, далёко от земли,
И я дышал надежною прохладой:
То небо веяло вдали!
Порою лишь чудесным легким звуком
Меня на миг на землю привлекал,
И снова я и взорами, и слухом
В высоком небе утопал.
Полночный час, покой, уединенье

И глубь небес над головой —
Всё, всё вело воображенье
На пир фантазии живой.
Она вкусила нектар рая!
Она вкусила хлеб небес!
И сердце жаркое, в восторге утопая,
Лилось потоком сладких слез!

2

Природа скрыта в ризе ночи,
Творенья в сон погружены,
Небес недремлющие очи
Едва мерцают с вышины.
Везде покой. Чуть ветер веет,
Отрадной свежестью дыша...
Одно мое лишь сердце млеет,
Одна грустит моя душа.
О чем же грусть? Мечты ль былые
Волнуют пламенную кровь,
Или потери роковые,
Иль безнадежная любовь?
О нет! Суровой жизни холод
Давно мечты уж потушил,
Давно судьбы тяжелый молот
Мне сталью сердце закалил...

3

ПАЛЫ

Ночь простерта над лугами;
Серой тенью брезжит лес,
И задернут облаками
Бледный свет ночных небес.

Тройка борзая несется,
Дремлют возчик и ездок,
Только звонко раздается
Оглушительный звонок.

Мрак полночи, глушь пустыни,
Заунывный бой звонка,
Омраченные картины,
Без рассвета облака, —

Всё наводит грусть на душу,
Всё тревожит мой покой
И холодной думой тушит
Проблеск мысли огневой.

Вдруг блеснуло на поляне...
Что так рано рассвело?
То не месяц ли в тумане?
Не горит ли где село?

Тройка дальше. Свет яснее;
Брызжут искры здесь и там;
Круг огня стает полнее
И скользит по облакам.

Миг еще — и пламя встало
Грозно-огненной стеной
И далёко разметало
Отсвет зарева живой.

И на ярком покрывале,
Будто жители гробов,
Заходили, задрожали
Тени черные лесов.

Дальше! Дальше! Блеск пожара
Очи слабые слепит;
Ветер дышит пылом жара,
Дымом, пламенем клубит.

Стой, ямщик! Ни шагу дале!
. . . .
И тревожно кони встали,
Роя землю и храпя.

1840 (?)

61. НА ОТЪЕЗД

А. П. и С. П. Ж⟨илиных⟩

Счастливый путь! Счастливый путь!
Привет, всех благ вам на дорогу!
Скрепите трепетную грудь
В прощальный час молитвой к богу.

И он вас в путь благословит
Всемощным манием десницы,
И в легком отблеске денницы
Пред вами ангел полетит.

Крылом отвеет ваши слезы,
Пробудит радости в груди
И утешительные розы
Рассыплет всюду на пути.

Когда ж порой во мраке ночи
Заснете вы отрадным сном,
Представит он пред ваши очи
В мечте родительский ваш дом.

И вас коснется звук священный
Благословения отца,
И голос матери бесценный
Проникнет радостью сердца...

Но вот ямщик уж у порога...
Скрепите ж трепетную грудь!..
Привет, всех благ вам на дорогу!
Счастливый путь! Счастливый путь!

14 июня 1841
Тобольск

62. ГРУСТЬ

В вечерней тишине один с моей мечтою
Сижу, измученный безвестною тоскою.
Вся жизнь прошедшая, как летопись годов,
Раскрыта предо мной: и дружба, и любовь,

И сердцу сладкие о днях воспоминанья
Мешаются во мне с отравою страданья.
Желал бы многое из прошлого забыть
И жизнью новою, другою пережить.
Но тщетны поздние о прошлом сожаленья:
Мне их не возвратить, летучие мгновенья!
Они сокрылися и унесли с собой
Всё, всё, чем горек был и сладок мир земной...
Я точно как пловец, волной страстей влекомый
Из милой родины на берег незнакомый
Невольно занесен: напрасно я молю
Возврата сладкого на родину мою,
Напрасно к небесам о помощи взываю,
И плачу, и молюсь, и руки простираю...
Повсюду горестный мне слышится ответ:
«Живи, страдай, терпи, — тебе возврата нет!»

1843

63

Не тот любил, любви кто сведал сладость,
Кому любовь была на радость;
Но тот любил, кто с первых дней любви
Елеем слез поил палящий жар крови,
Кто испытал все муки и терзанья
Любви отвергнутой, кто в сердце хоронил
Последний луч земного упованья,
А в глубине души молился и любил.

1843 (?)

64

Рано утром под окном,
Подпершися локотком,
Дочка царская сидела,
Вдаль задумчиво глядела;
И порою, как алмаз,
Слезка капала из глаз.
А пред ней ширинкой чудной
Луг пестрелся изумрудный,

А по лугу ручеек
Серебристой лентой тек.
Воздух легкий так отрадно
Навевал струей прохладной!
Солнце утра так светло
В путь далекий свой пошло!
Всё юнело, всё играло,
Лишь царевна тосковала
Под косящатым окном,
Подпершися локотком.
Наконец она вздохнула,
Тихо ручками всплеснула,
И, тоски своей полна,
Так промолвила она:
«Всех пространней царство наше,
Всех девиц я в свете краше
Бела личика красой,
Темно-русою косой,
Нежной шеей лебединой,
Речью звонкой соловьиной;
Дочь единая отца,
Я краса его дворца...»

1845 (?)

65. ВОСПОМИНАНИЕ

Я счастлив был. Любовь вплела
В венок мой нити золотые,
И жизнь с поэзией слила
Свои движения живые.
Я сердцем жил. Я жизнь любил,
Мой путь усыпан был цветами,
И я веселыми устами
Мою судьбу благословил.

Но вдруг вокруг меня завыла
Напастей буря, и с чела
Венок прекрасный сорвала
И цвет за цветом разронила.
Всё, что любил, я схоронил
Во мраке двух родных могил.

Живой мертвец между живыми,
Я отдыхал лишь на гробах.
Красноречив мне был их прах,
И я сроднился сердцем с ними.

Дни одиночества текли,
Как дни невольника. Печали,
Как глыбы гробовой земли,
На грудь болезненно упали.
Мне тяжко было. Тщетно я
В пустыне знойного страданья
Искал струи воспоминанья:
Горька была мне та струя!
Она души не услаждала,
А жгла, томила и терзала.
Хотя бы слез ниспал поток
На грудь, иссохшую в печали;
Но тщетно слез глаза искали,
И даже плакать я не мог!

Но были дни: в душе стихало
Страданье скорби. Утро дня
В душевной ночи рассветало,
И жизнь сияла для меня.
Мечтой любви, мечтой всесильной
Я ниспускался в мрак могильный,
Труп милый обвивал руками,
Сливал уста с ее устами
И воплем к жизни вызывал.
И жизнь на зов мечты являлась,
В забвенье страсти мне казалось —
Дышала грудь, цвели уста
И в чудном блеске открывалась
Очей небесных красота...
Я плакал сладкими слезами,
Я снова жил и жизнь любил,
И, убаюканный мечтами,
Хотя обманом счастлив был.

1845

66. ОПРАВДАНИЕ

Толпа любовь мою винит,
И между тем она согласна,
Что мной избранная прекрасна,
О чем же буйная шумит?
Ужели чувство — преступленье?
Ужели должен я просить,
Как подаянья, позволенья
И ненавидеть, и любить?
«Она твоею быть не может!»
Я знаю сам и не хочу
Покой души ее тревожить,
И чувство в сердце заключу.
Сдержу желаний пылких волю,
Мятежный жар сомну в крови,
Но и в забвенье не позволю
Прорваться слову о любви.
И не узнает, не услышит
Она о тайне от меня —
Что ею только сердце дышит,
Что ею только мил свет дня.
Но для чего же мне неволить
Влеченье чистое мое
И молчаливо не позволить
Мне любоваться на нее?
Но для чего же мне украдкой
Волшебных взглядов не ловить,
Не услаждаться речью сладкой,
Дыханья уст ее не пить? ..
О, сколько раз в толпе бесстрастной,
Томимый жаждой красоты,
Я не сводил очей с прекрасной,
Лелея светлые мечты!
Сдержав тревожное дыханье,
Забыв себя, забыв людей,
Я погружался в созерцанье
Любви возвышенной моей.
Минуты чудные! Казалось,
Перед возвышенной душой
Мне небо света открывалось
С своею вечной красотой.

О, только лишь художник-гений,
Ловя чудесный идеал,
В часы божественных видений
Подобный образ создавал!
И помню я: как тополь стройный,
Во цвете лет, облечена
Красой и гордой, и спокойной,
Стояла царственно она.
Волнисто-чудной диадимой,
В гирлянде жемчуга и роз,
Вился изгиб неуловимый
Благоухающих волос.
Сияло мыслию высокой
Ее лилейное чело,
И всё лицо, как день Востока,
И ясно было, и светло.
Во влаге блещущей эмали,
Под дымкой шелковых ресниц,
Глаза пленительно сияли
Красою северных зарниц.
И переменно отражались
На них мечты живой игрой:
То блеском полдня разгорались,
То в сумрак ночи погружались,
Блистая звездною слезой.
А эти розы щек живые!
А эти — прелесть, красота,
Любви созданье — огневые,
Нектарно-влажные уста!
Могучей силы词 чарованья
На них положена печать,
И может их одно лобзанье
И вдунуть жизнь, и жизнь отнять.
А плеч роскошные разбеги
В сиянье млечной белизны!
А груди пышной, полной неги,
Две чародейские волны!
В них жизнь всю полноту излила,
А прелесть формы обвела...
А страсти пламенная сила
Их горделиво подняла...

Всё, всё в ней было обольщенье,
И мне казалось, что она
Олимпа древнего явленье,
Героподобная жена!

1846

67. ХРАМ СЕРДЦА

Когда, покинув мир мечты,
В свое я сердце погружаюсь,
Я поневоле ужасаюсь
Его печальной пустоты.
Как храм оставленный в пустыни,
Оно забвенью предано,
Без фимиама, без святыни. . .
В нем всё и дико, и темно!
Лишь ядовитый змей страданья
Ползет тропой воспоминанья
И на поблекшие цветы
Рано потерянного счастья
Отраву льет шипучей пастью
Во мраке скорбной темноты.
Везде печальные гробницы
Надежд и радостей былых,
И редко, редко луч денницы,
Как лепту, бросит свет на них.

А было время: чудным зданьем
Здесь возвышался жизни храм
И сладких чувств благоуханьем
Курился сердца фимиам.
Надежды чистого елея
Лампада дней была полна,
И всё отрадней, всё свежее
Горела счастием она.
Но миг — и всё восколебалось!
Алтарь любви повержен в прах!
На опустевших ступенях
Воспоминанье лишь осталось.

И день и ночь оно с тоской
Чего-то ищет меж гробами,
И роет пепел гробовой,
И плачет горькими слезами.

1846

68. ТРИ ВЗГЛЯДА

Когда ты взглянешь на меня
Звездами жизни и огня —
Твоими черными глазами, —
Глубоко в грудь твой взор падет,
Забьется сердце и замрет,
Как будто птичка под сетями.

Но новый взгляд твоих очей —
И в тот же миг в груди моей
Цветок надежды расцветает.
И светит сердцу свет сквозь тьму,
И сладок милый плен ему,
И цепи милые лобзает.

Но что ж, когда в твоих глазах
Сквозь тучи, в молнийных огнях,
Любовь заблещет роковая?
О сердце, сердце! Этот взгляд
Осветит блеском самый ад
И разольет блаженство рая...

1846

69. МОЯ ЗВЕЗДА

Ночь несчастий потушила
Свет живительного дня
И отвсюду окружила
Мраком гибельным меня.

Без надежды на спасенье
Я блуждал во тьме ночной.
Вера гибла, гроб сомненья
Раскрывался предо мной.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Вдруг увитая лучами,
Мрачной ночи красота,
Воссияла пред очами
Неба новая звезда.

Лучезарною одеждой
Как царица убрана,
Умиленьем и надеждой
Взору светится она.

Очарован, околдован
Дивной прелестью лучей,
Жадно взор мой к ней прикован,
Сердце рвется встречу к ней...

О, гори передо мною,
Ненаглядная моя!
Для меня теперь с тобою
Ночь пленительнее дня!

1846

70

Печальны были наши дни;
В заботах жизни обиходной,
Как смутный сон, текли они
Чредой бесцветной и бесплодной.

Но Вы являетесь средь нас
С волшебной пальмою искусства,
И жизнь души отозвалась
На чудный звук порывом чувства.

30го Августа 1849 г.

Е. Пр. А.В.Э. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] дни;
Из забытых струн [illegible],
Как [illegible] сам [illegible] [illegible]
Когда безумствуя и [illegible]

—

Все [illegible] [illegible] [illegible] нас
[illegible] [illegible] полночной [illegible]
И звуки души отзывались
На [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

—

И все, что сердце в [illegible]
Затаено [illegible] было,
По звуку [illegible] струны
Из [illegible] [illegible] заговорило

И всё, что сердца в глубине
Затаено святого было,
По звуку вещему струны
В живой аккорд заговорило.

30 августа 1849

71. В. А. АНДРОННИКОВУ

Ты просишь на память стихов,
Ты просишь от дружбы привета...
Ах, друг мой, найти ли цветов
На почве ненастного лета?
Прошли невозвратно они,
Поэзии дни золотые.
Погасли фантазьи огни,
Иссякли порывы живые.
В житейских заботах труда
Года мой восторг угасили,
А что пощадили года,
То *добрые* люди убили.
И я, как покинутый челн,
Затертый в холодные льдины,
Качаюсь по прихоти волн
Житейской мятежной пучины...
Напрасно, как конь под уздой,
Я рвусь под мучительной властью...
И только отрадной звездой
Сияет семейное счастье.

1860-е годы

72. ОДИНОЧЕСТВО

Враги умолкли — слава богу,
Друзья ушли — счастливый путь.
Осталась жизнь, но понемногу
И с ней управлюсь как-нибудь.

Затишье душу мне тревожит,
Пою, чтоб слышать звук живой,
А под него еще, быть может,
Проснется кто-нибудь другой.

1860-е годы

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

73—74. (*ЭКСПРОМТЫ НА НОВЫЙ 1842 ГОД*)

1

Новый год! Новый год!
Что забот, что хлопот!
Полон лоб, полон рот!
Так ревет весь народ
Натощак в Новый год.

2

Двенадцать бьет! Двенадцать бьет!
И канул в вечность старый год
Под ношей суетных стремлений
И прозаических забот.
Миг ожидания... и вот,
Как некий дух, как светлый гений,
Вступает новый, юный год
С надеждой божеских щедрот
И утешительных видений.

1 января 1842

75. НОС

Лиро-эпическое произведение,
исполненное поэзии и философии

Поэты! Род высокомерный!
Певцы обманчивых красот!
Доколе дичью разномерной
Слепить вы будете народ?

Когда проникнет в вас сознанье,
Что ваших лживых струн бряцанье —
Потеха детская? Что вы,
Оставив путь прямой дороги,
Идете, положась на ноги
Без руководства головы?

О, где, какие взять мне струны,
Какою силой натянуть,
Чтоб бросить мщения перуны
В их святотатственную грудь?
Каким молниеносным взором
Вонзиться в душу их укором,
Заставить их вострепетать?
Изречь весь стыд их вероломства
И на правдивый суд потомства
Под бич насмешек их отдать?

В неизъяснимом ослепленье
Ума и сердца, искони
Священный ладан песнопенья
Курили призракам они.
Мечту (о жалкие невежды!)
Рядили в пышные одежды,
А истый образ красоты,
Вполне достойный хвал всемирных,
Не отзывался в звуках лирных
Певцов заблудших суеты!

Всё, всё: и перси наливные,
Ресницы, брови, волоса,
Уста, ланиты, стопы, выи,
Десницы, шуйцы, очеса, —
Весь прозаический остаток,
Короче, с головы до пяток
Всё, всё воспел поэтов клир,
Всему принес он звуков дани,
Облек во блеск очарований
И лиру выставил на пир.

А нос — великий член творенья,
А нос — краса лица всего

Оставлен ими в тме забвенья,
Как будто б не было его.
В причины ум свой углубляю,
Смотрю, ищу — не обретаю.
Но, как новейший философ,
Решу оружием догадки:
«Или носы их были гадки,
Иль вовсе не было носов!»

О нос! О член высокородный!
Лица почетный гражданин!
Физиономии народной
Трибун, глашатай, верный сын!
По непонятной воле рока
Ты долго, долго и глубоко
Дремал в пыли, забвен и сир.
Но днесь судьбой того ж устава
Ты должен пыль счихнуть со славой
И удивить величьем мир.

Нет! нет! Не знал тот вдохновенья,
Кто взялся б словом изъяснить
Весь пыл, всю бурю восхищенья
При мысли — новый мир открыть,
Воспеть не то, что было пето,
Предмет неведомый для света
Во всем сиянье показать,
Раскрыть огромный мир богатства
И в сонм рифмованного братства
Коломбом новым гордо стать.

Теперь я созерцаю ясно —
Зачем мне жизнь судьба дала,
Зачем гармонии прекрасной
В груди мне струны напрягла,
Зачем природы мудрой сила
Такой мне нос соорудила
И невидимая рука
В часы приятного мечтанья
Производила щекотанье
В носу то крепко, то слегка.

Итак, вперед! На честь, на лавры!
Пускай могучий, звонкий стих
Отгрянет вдруг, как дробь в литавры,
Во слух читателей моих!
Пусть ливнем льется вдохновенье
Во славу нового творенья,
На удивление племен!
Да пронесется туча звуков
Над головами внуков внуков
Чрез бесконечный ряд времен!

⟨1858⟩

76. АЛЕКСЕЮ ЕГОРОВИЧУ ВИКТОРОВУ

Любитель древности и русской старины,
Друг юношей, любимейший учитель!
Почто, скажи, почто, хоть ради новизны,
Почто, скажи, родителей мучитель!
Не хочешь ты стяжать бессмертия венец?
То был бы дар тебе родительских сердец,
Коль речью бы одной ум юношей питал
И книги покупать их реже посылал.
И сколь была б тогда твоя завидна слава,
Что ты без Нестора и русского Стоглава
Орленков на гнезде полет приготовляешь
И куплей груды книг меня не разоряешь.
Воззри ты оком милосердным
На шкаф, хранилище наук.
В нем тесно книгам уж вмещенным,
В нем места не найдет паук.
А всё мне книги шлет Салаев,
Книгопродавец Глазунов,
Вчера же втиснут был Буслаев,
Сегодня прется Милюков.
А сердце так и замирает,
Когда в пучине старины
Я зрю, как мой птенец ныряет
И тонет в бездне новизны.
О, как страшусь, что захлебнется,
Где испытания скала,

Иль о скалу он разобьется,
Как разбивается волна.
Но ты, изведавший пучины,
О кормчий опытный! не скрой —
Страшиться есть ли мне причины
Скалы иль камней под водой.

15 декабря 1860

77. ЛЮБИТЕЛЬНИЦАМ ВОЕННЫХ

Мне странно слышать, откровенно
Пред вами в этом сознаюсь,
Что тот умен лишь, кто военный,
Что тот красив, кто фабрит ус.
Ужель достоинства примета
В одной блестящей мишуре,
А благородство — в эполетах,
А ум возвышенный — в пере?
Пускай наряд наш и убогий,
Но если глубже заглянуть —
Как часто под смиренной тогой
Кипит возвышенная грудь!
Как часто шляпою простою
Покрыто мудрое чело;
А под красивой мишурою
Одно ничтожество легло.
Я не люблю давать советы,
И только вскользь замечу тут,
Что золотые эполеты
Ума глупцу не придадут,
Что (молвлю тут же мимоходом,
По русской правде, без затей)
Урод останется уродом,
Хоть пять усов ему пришей.
А если разобрать построже,
Так выйдет чисто — что в руках
Одно перо порой дороже
Всех петухов на головах.

78—85. PARBLEU OU POUR LE BLEU[1]

Уж эти мне друзья, друзья!
А. П.

1

Исполняя обещанье,
Вашим данное друзьям,
Посылаю к вам собранье
Небогатых эпиграмм.
Может быть, в них мало соли,
Перцу ж слишком, может быть.
Предаю на вашу волю —
И смеяться, и бранить.
Впрочем, выскажу здесь прямо
(Не примите лишь за лесть):
Вы достойны эпиграммы,
Отдаю вам эту честь.

Honnî soit qui mal y pense[2]
(Вместо эпиграфа)

2

Гостиных лев, герой приятельских пирушек,
Наш Дон Жуан девиц всех свел с ума.
Того и жди начнется кутерьма
В кисейной области чувствительных пастушек.
Чему ж завидовать? Безумье не резон,
И с сотворения кадрили
Красавицы ему всегда должок платили,
А только вряд ли выиграл бы он,
Когда б они немножко не блажили.

[1] Черт побери или ради неба (франц., игра слов). — *Ред.*

[2] Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (франц.). — *Ред.*

3

В постройках изощрясь градской архитектуры,
Наш зодчий захотел девицам строить cour'ы.
Но верен все-таки остался наш Протей
Строительной профессии своей:
Во всех делах его видны — одни фигуры.

4

Наш зодчий Дон Жуан превыше всех похвал!
В любви и в зодчестве он неизменных правил:
Везде прехитрое начало основал,
А исполнение благой судьбе оставил.

5

Что за диковинка? Наш зодчий, зал герой,
Летает от одной красавицы к другой.
Сегодня той кадит, а завтра ту чарует,
А смотришь, в третий день обеих их надует.
Ну, словом, нет конца
Проделкам молодца!
Чему ж дивиться тут? Ведь он — проектирует!

6

Рожденный львом, судьбе наперекор,
Наш Дон Жуан хотел прослыть и зодчим.
Но вышло так, что славный он танцор,
А архитектор — между прочим.

7

Салонов лев, львов маленьких протектор,
Диктатор вечеров, концертов дирижер —
На всё наш Дон Жуан и ловок, и хитер:
Ведь экой архитектор!

8

Постройки с танцами желая согласить,
Наш зодчий Дон Жуан весь гений свой натужил
И, нечего греха таить,
Разнообразные таланты обнаружил.
Но тут не разберет и самый Соломон –
Дурачится ли он или других дурачит:
Танцуя, cour'ы строит он,
А от построек долго скачет.

(1854)

86—107. *ЭПИГРАММЫ*

1

М. ЗНАМЕНСКОМУ

Судьбою данный капитал
Он на копейки разменял
И сыплет их в народ горстями...
С невольной грустью я спросил:
Кого, мой друг, обогатил
Ты миллионными частями?

2

А. И. ДЕСПОТ-ЗЕНОВИЧУ

Тебя я умным признавал,
Ясновельможная особа,
А ты с глупцом меня сравнял...
Быть может, мы ошиблись оба?

3

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПОРЯДКИ

При старых порядках судебное дело
Лет двадцать, не больше, в приказе сидело;
А ныне в неделю сутяга иной
Раз двадцать притащит тебя в мировой.

4

ПОКЛОННИКАМ ЛАТЫНИ

Гибло наше просвещенье,
Смерть была невдалеке,
Вдруг — о радость! Есть спасенье —
Во латинском языке.
Если ж нас латынь обманет,
Всё же выигрыш и тут,
Что ослов у нас не станет —
Всюду asin'ы[1] пойдут!

5

ЭКСПРОМТ

«Эври́ка, эври́ка!
В латыни вся сила!» —
Vir doctus[2] кричит.
«Неври-ка, неври-ка!» —
Ум русский педанту
В ответ говорит.

6

ПРОЕКТ НОВОГО УСТАВА

Дабы прогресс с законом согласить
И женщин приравнять к мужчине,
Мы дозволяем им отныне
Усы и бороду носить.

7

ПО ПРОЧТЕНИИ ОДНОЙ ГАЗЕТНОЙ СТАТЬИ

Лакеи вообще народ не достохвальный,
Но гаже всех из них лакей официальный.

---

[1] Ослы (лат.). — *Ред.*
[2] Ученый муж (лат.). — *Ред.*

8

КУПЦУ ПЛЕХАНОВУ

Сибирский наш Кащей
Всю жизнь обманывал людей,
И вот на старости, чтоб совесть успокоить,
Давай молебны петь и богадельни строить.

9

К ОДНОЙ ФИЛАНТРОПКЕ

В филантропическом припадке
Она дрожит, как в лихорадке,
Готова свет весь обобрать
И бедным братьям всё отдать.
Но чуть какой бедняк неловкой,
Знакомый мало со сноровкой,
Пред ней обмолвится... Как раз
Его в полицию тотчас!

10

Превосходительство и превосходство —
Два сына матери одной,
Но между ними то же сходство,
Что между солнцем и луной!

11

Чему завидовать, что некий господин
В превосходительный пожалован был чин, —
Когда бы ум его на миг хоть прояснился,
То сам бы своего он чина постыдился!

12

НИГИЛИСТУ-ЕСТЕСТВЕННИКУ

Ты говоришь, что без изъятья
Мы все родня, что все мы братья.
Ну что ж? Прекрасные слова!

Но слов одних для дела мало:
Ведь по закону естества
Необходимы для родства
Единый род, одно начало.
Но здесь-то целый океан
Положен вами в разделенье:
Ведь мы — Адама поколенье,
А вы — потомки обезьян.

13

Палестину нашу
Покидает он.
Заварил в ней кашу,
Да и драла вон.
Как же у порога
Нам не затянуть:
«Скатертью дорога,
Боераком путь».

14

Такой народ здесь хлебосол,
И так попить душа в нем рвется,
Что приезжай хоть бы осел,
А он уж с радости напьется.

15

Его со спичами в устах
Встречали мы!
Его на трепетных руках
Качали мы!
И бочку целую в слезах
Кончали мы!

16

НЕКОЕМУ ПРОГРЕССИСТУ

Он ходит Байроном меж нами,
Прогрессом сыплет, как дресвой,
Он точно Байрон — вверх ногами!
Он прогрессист — вниз головой!

17

ПУБЛИЦИСТУ-ПЕДАГОГУ

Как публицист — Россия им гордится,
Как педагог — ни к черту не годится!

18

Двум тощим выходцам наш город-худотел
Права почетного гражданства предоставил.
И сам от этого не больно потолстел,
И новым гражданам он жиру не прибавил.

19

Мои приятели Федулы
Куда как щедры на посулы.
Послушать их — так, право, благодать:
Готовы за тебя чертям себя продать.
А только попроси презренного металла,
Ценой хоть в два четвертака,
Такого от тебя дадут они скачка,
Какого публика и в цирке не видала.

20

До сих бы пор я отвергал
Ученье новое Дарвина,
Когда б тебя не увидал,
Перерожденная скотина.

21

Осел останется ослом,
Хоть дай ему магистерский диплом.

22

Не забыта мать Россия
У небесного царя.
Всюду реки медовые
И молочные моря.
И богатым и убогим
Пир готов на каждый день.
Дело только за немногим:
Ложку в руки взять нам лень.

КОЛЛЕКТИВНОЕ

108. ЧЕРЕПОСЛОВ

Отрывок из водевиля

Касимов

(поет)

Судьба обидела гусара;
Но вот уж млат над ним висит,
И, с каждым отзывом удара,
Талант с небес к нему слетит...
Мужайся, воин, и терпи!
Палач, свой первый дар влепи.

Иванов

(ударяя молотком по голове Касимова, тотчас же примачивает губкою и поет)

Вот... шишка славы.

Касимов

(сморщиваясь, тоже поет)

Величавый
Волдырь на маковку взлетел...
Да! нелегка ты, шишка славы!..
Недаром мало славных дел.

Иванов
(ударяя вновь и примачивая, поет)

Сюда вот память надо вбить.

Касимов
(передергиваясь)

Ну, точно... память!.. Нету спора!
Ее вовек мне не забыть.

Иванов
(по-прежнему)

Музы́ка здесь!

Касимов
(тоже)

Как бы в два хора
Я оглушен!.. Я понял, други,
И фис, и дис, и всякий прах!..
Ну, право, от подобной фуги
Век целый прозвенит в ушах.

Иванов
(по-прежнему)

Познаньям место и ученью.

Касимов
(съеживаясь, поет сквозь слезы)

Ой, ой!.. Ученость налегла!..
Коли судить по оглавленью,
Она уж больно тяжела.

Иванов
(по-прежнему)

Ума здесь орган, убеждений.

Касимов
(всхлипывая)

У-ух!.. Я убежден насквозь...
О боже! Столько потрясений
Сразят хоть бы кого небось!

Иванов

(по-прежнему)

Тут... сила духа.

Касимов

(едва усидев)

Тише, больно!..
Как сильно захватило дух!..
Иванов, милый! ну, довольно!
Ей-ей, не выдержу, мой друг.

Иванов

(по-прежнему)

Чувствительность!

Касимов

Туда ж, в подмогу!..

(Плачет.)

Страдальцы, понимаю вас!..
Я тронут так, что ну, ей-богу,
Расплачусь, как дитя, сейчас.

Иванов

(по-прежнему)

Вот... живопись.

Касимов

Э-эк, вскочила!..
И тень и свет я понял вдруг...
В глазах как будто зарябило,
И словно радуги вокруг.

Иванов

(по-прежнему)

А вот... терпенье.

Касимов

Опоздало!..
Ох, рок мне строит всё на смех.
Терпенье надо бы сначала,
А не в конец, не позже всех.

Иванов

(бьет с особою силою, примачивая)

Теперь — любовь!

Касимов

(вскакивая)

У-ах!.. умру я!..

(Падает снова на стул, в изнеможении.)

От маковки... до самых пят...
Я... ощущаю... страсть такую,
Что ночь переживу навряд!

Иванов

(вытирает свой молоток и убирает ставчик с тазом на прежнее место)

Довольно с вас.

Касимов

(тяжело вздыхая)

Конец мучений...

(Постепенно отдыхивается, встает и подходит к рампе, ощупывая осторожно свою голову.)

Что хватишь, то талант в руке...
Как я умен... я просто гений,
В каком-то чудном шишаке!
Теперь я счастлив... Марш к Лизетте!
Она любить меня должна...
Лишь укажу на шишки эти,
И мигом Лиза влюблена.

1837

ВАРИАНТЫ

1

ЧАСТЬ 1

3 *I—IV изд., Автограф ЦГАЛИ*	Не на небе, на земле,
5 *I—IV изд.*	У крестьянина три сына.
10 *Список ГБЛ*	Да возили под столицу:
12 *Список ГБЛ*	Недалёко от села.
15 *I—III изд.*	И с телегою пустой
20 *I—III изд.*	И пшеницу их косить.
22 *I—III изд.*	От рожденья не видали;
24—27 *I—III изд.*	Как бы вора им поймать; И решили всенародно: С ночи той поочередно Полосу свою беречь,
29 *I—III изд.*	Только стало лишь смеркаться,
36 *I—III изд.*	Завалился на сенник.
39—40 *I—III изд.*	И, обшед избу кругом, У дверей стучит кольцом.

46 *I—III изд.*	Караульного впустили,
49 *I—III изд.*	Караульный помолился,
56—57 *I—III изд.*	Под дождем я всё ходил; Правда, было мне и скучно,
63 *I—III изд.*	То есть, будучи при том,
66 *I—III изд.*	Средний сын пошел сбираться:
70 *I—III изд.*	На него тоска напала,
74 *I—III изд.*	У соседки пред забором.
75—76 *I—III изд.*	Только начало светать, У дверей он стал стучать.
80 *I—III изд.*	До костей я весь промерз».
82 *I—III изд.*	Караульного впустили,
85 *I—III изд.*	Караульный помолился,
91—92 *I—III изд.*	До костей меня пробрал; Целу ночь я проскакал;
91 *Список ГБЛ*	До костей меня продрал;
103—104 *I—III изд.*	Братья ну его ругать, Стали в поле посылать,
106 *I—III изд.*	Только время потеряли:
110—111 *I—III изд.*	Ты поди в дозор, Ванюша; Я нашью тебе обнов,
113—114 *I—III изд.*	Вот дурак с печи слезает, Шапку набок надевает,
116 *I—III изд.*	И шатаяся идет.

118 *I—III изд.*	Поле всё дурак обходит,
123—125 *I—III изд.*	Вдруг на поле конь заржал... Караульный наш привстал, Посмотрел сквозь рукавицу
129 *I—III изд.*	Грива точно золотая,
Вместо 142—151 *I—III изд.*	Задом, передом брыкая, Понеслася по полям, По горам и по лесам. То заскачет, то забьется, То вдруг круто повернется, Но дурак и сам не прост —
154 *I—III изд.*	«Ну, — дурак, — ему сказала, —
157 *I—III изд.*	Ты возьми меня с собою
159 *I—III изд.*	Сколько можешь. Да смотри:
161 *I—III изд.*	Отпускай меня на волю
После 162 *I—III изд.*	Не простым корми овсом — Белояровым пшеном; Не озерной пой водою, Но медовою сытою.
165—167 *I—III изд.*	Да таких, каких на свете Не бывало и в примете; Еще третьего конька
171 *I—III изд.*	Первых ты коней продай,
Вместо 173—182 *I—III изд.*	Ни за яхонт, ни за злато, Ни за царскую палату. Да смотри же, не забудь: Только кони подрастут, Не держи меня в неволе, А пусти во чисто поле.
204 *I—III изд.*	Как он смеет так стучать.
210—211 *I—III изд.*	Старику на удивленье: «Целу ноченьку не спал,

213 *I—III изд.*	Месяц, ровно, также светил, —
218 *Автограф ЦГАЛИ*	А глаза-то, что те ложки!
219—220 *I—III изд.*	Он пшеницей стал ходить И давай хвостом косить.
Вместо 223—234 *I—III изд.*	Уж носил же он, носил, Так, что выбился из сил; В воровстве своем признался И пшеницу есть заклялся.
239 *I—III изд.*	Подпершися под бока,
241 *I—III изд.*	Сам отец не мог сдержаться,
Вместо 245—253 *I—III изд.*	Вот однажды брат Данило
255 *I—III изд.*	Возвратившись с свадьбы пьян,
257 *I—III изд.*	Там увидел он красивых
259 *I—III изд.*	Еще третьего конька
263 *I—III изд.*	«Хе! Теперь-то я узнал,
266 *I—III изд.*	Дай скажу о том Гавриле».
272 *I—III изд.*	Ты таких и не видал».
Вместо 275—280 *I—III изд.*	Через кочки, чрез бурьян Побежали в балаган.
284 *I—III изд.*	Хвост раскинут золотой,
290 *I—III изд.*	Что чуть глаз не проглядели.
292—296 *I—III изд.*	Старший младшему сказал. Но издавна речь ведется, Что всё глупым удается; Будь преумная душа, Не добудешь и гроша.

300 *I—III изд.*	Деньги вместе разделим.
303—304 *I—III изд.*	Стоит хлопнуть по мешку. А Ивану-дураку
308 *I—III изд.*	Ну, Гаврило, по рукам!»
314 *I—III изд.*	И про чудную свиньюшку.
317—318 *I—III изд.*	И чрез первую седмицу Братья ехали в столицу,
325 *I—III изд.*	Вот иконе помолились,
Вместо 328—331 *I—III изд.*	И отправились потом. Удалого погоняют Да о деньгах рассуждают. Вдруг дурак — часов чрез пять — Вздумал в поле ночевать. Дураку ли мешкать? Дело У него в руках кипело. Он околицей идет,
333 *I—III изд.*	Вот рогожу поднимает,
335 *I—III изд.*	И с прискочкою Иван
338—339 *I—III изд.*	Двух коней как не бывало; Лишь бедняжка горбунок
346—347 *I—III изд.*	Мои кони златогривы! Я кормил-то вас, ласкал,
354—355 *I—III изд.*	Мои кони златогривы! Тут конек его прервал.
360—362 *I—III изд.*	Братья коней увели, Как поехали из дому. Но что мешкать по-пустому,
366 *I—III изд.*	Но сменю коня другого:

370—375 *I—III изд.*	На него дурак садится, Крепко за уши берет, Горбунок-конек встает, Черной гривкой потрясает, На дорогу выезжает; Вдруг заржал и захрапел
377—383 *I—III изд.*	Только черными клубами Пыль вертелась под ногами. И чрез несколько часов Наш Иван догнал воров. Братья, видя то, смешались, Не на шутку испугались; А дурак им стал кричать:
Вместо 388—396 *I—III изд.*	Старший брат тогда сказал: «Дорогой наш брат Ванюша! Не клади нам грех на души. Мы, ты знаешь, как бедны, А оброк давать должны.
395—396 *IV изд.*	До оброков ли нам тут? А исправники дерут.
398—399 *I—III изд.*	Мы с Гаврилом толковали Всю сегодняшнюю ночь —
401—404 *I—III изд.*	Так и этак мы судили, Наконец вот так решили, Чтоб продать твоих коней Хошь за тысячу рублей.
Вместо 405—409 *I—III изд.*	Наш отец-старик неможет,
411—412 *I—III изд.*	Надо нам его кормить — Сам ты можешь рассудить».
415 *I—IV изд.*	Златогривого коня.
417—418 *I—III изд.*	Оба брата согласились И все вместе в путь пустились.
421—422 *I—II изд.*	Братья, чтоб не заблудиться, Вздумали остановиться.
424—425 *I—III изд.*	Привязали лошадей. Взяли хлеба из лукошка,

427—428 *I—III изд.*	И потом, как кто умел, Песни разные запел.
430 *I—III изд.*	Огонек во тьме засветил.
434 *I—III изд.*	Показав огонь тихонько
Вместо 435—447 *I—III изд.*	Тут затылок почесал И с лукавством так сказал, Усмехаяся. «Послушай, Принеси огня, Ванюша, Ночь темна, а у меня
452—453 *I—III изд.*	Тихо брату: «Может быть, Там станичники пристали —
457—458 *I—III изд.*	И, схватив его руками, Бьет в круты бока ногами,
463—464 *I—III изд.*	Осенясь крестом святым. — Что за бес конек под ним!»
467—470 *I—III изд.*	И чрез несколько минут При огне конек как тут. Тот огонь в лугу светлеет, — Не дымится и не греет.
473 *I—III изд.*	Много блеску, много свету,
476—478 *I—III изд.*	Тут сказал ему конек: «То перо, Иван, Жар-птицы, Из чертогов Царь-девицы,
487 *I—III изд.*	В шапку мигом положил
489 *I—III изд.*	Скоро к братьям приезжает
499 *I—III изд.*	А дурак под воз присел,
509 *I—III изд.*	Вот ворота отворяют;
513—514 *I—III изд.*	Рядом едет с ним брадатый Называемый глашатый;
519 *I—III изд.*	Надзирателям сидеть

522—523 *I—III изд.*	Ни смятенья, ни погрому И чтобы купецкий род
525—526 *I—III изд.*	Гости лавки отворяют, Покупальщиков сзывают:
Вместо 531—535 *I—III изд.*	В это время тот отряд
537 *I—III изд.*	Но от множества народу
539 *I—III изд.*	Так кишмя вот и кишат,
556—558 *I—III изд.*	Хвост раскинут золотой... Городничий раздивился И два раз перекрестился.
561—562 *I—III изд.*	Весь отряд тут усмехнулся, Сам глашатый заикнулся.
574 *I—III изд.*	И пред троном упадает, —
588 *I—III изд.*	Чтоб народ он разогнал.
596 *I—III изд.*	Золотистый хвост трубой,
599 *I—III изд.*	Царь не мог тут утерпеть.
603—604 *I—III изд.*	Колесницу запрягли И ко входу подвезли.
Вместо 612—618 *I—III изд.*	С колесницы к коням прыг... Вкруг коней он ходит, хвалит, То потреплет, то погладит,
623—624 *I—III изд.*	Кто хозяин?» — Тут дурак, Спрятав руки за армяк,
648 *I—III изд.*	И сказал ему: «Ну, брат,
651 *I—II изд.*	При дворце тебе служить.
651 *III изд.*	При дворе тебе служить.

656 *I—III изд.*	Я во власть тебе даю,
664 *I—III изд.*	Царь мне даром отдает;
669—672 *I—III изд.*	. . . . Тут подкликнул он коней
674 *I—III изд.*	Вслед за царской колесницей,
682—684 *I—III изд.*	В шапку накрепко зашили И отправили гонца, Чтоб обрадовать отца.
682 *IV изд.*	В пояски их позашили,
695—697 *I—III изд.*	Со своим лихим коньком — Неизменным горбунком: Как поймал Иван Жар-птицу,
696 *IV изд.*	Как перо свое прогнал,
699—700 *I—III изд.*	Как кольцо ее достал, Как он в небе погулял,
703 *I—III изд.*	Как, по милости своей,

ЧАСТЬ 2

Вместо 714—720 *I—III изд.*	Конь поднялся от земли: Под ногами лес стоячий, Облака над ним ходячи, —
740—741 *I—III изд.*	У Ивана разных платьев, Красных, с вышивкой цветов,
750—754 *I—III изд.*	Из боярских был детей. На Ивана он косился И крестом святым божился, Что Ивана-молодца Потурит вон из дворца.
760 *I—III изд.*	Я те брякну, неумойка!
767 *I—III изд.*	И причесаны, обмыты,

773 *I—III изд.*	И в чану большом сытá
780—783 *I—III изд.*	И под нос такую дулю Поднесу я дураку, Что хоть тут же и в реку. Докажу я в думе царской,
787—790 *I—III изд.*	*отсутствуют*
Вместо 795—802 *I—III изд.*	Полночь темная приходит. Наш Иван в конюшню входит Без свечи, без фонаря, Распевая про царя.
798 *IV изд.*	Сам всё в дирочку глядит.
804 *I—III изд.*	Шапку красную скидает,
807—808 *I—III изд.*	В три завитое тряпицы Из крыла перо Жар-птицы.
813 *I—III изд.*	Но Ивану невдомек!
Вместо 819—847 *I—III изд.*	Лишь убрал — перо Жар-птицы
821—822 *IV изд.*	Смотрит спальник вполуглаз На творца ночных проказ.
849 *I—III изд.*	И спокойно тут прилег.
853—858 *I—III изд.*	И, услыша, что дурак Спит прекрепко, как хомяк, Он тихонько на пол сходит И на цыпочках подходит... Мигом шапку подхватил, Прыг в окно — и след простыл.
869—870 *I—III изд.*	Если ж будешь ты да врать, То беды не миновать!»
889 *I—IV изд.*	Если б вздумал приказать,
891—894 *I—III изд.*	И, польстившись донесеньем, Хитрый спальник со смиреньем К государю приступил И перо ему вручил.

900—901 *I—III изд.*	. . . .
913—914 *I—III изд.*	. . . .
922 *I—III изд.*	Ну поталкивать в бока.
927 *I—III изд.*	«Что за челядь вы такая? —
935—938 *I—III изд.*	Вот немножко приберуся И тотчас к царю явлюся», — Говорит послам дурак. Тут надел он свой армяк,
941—942 *I—III изд.*	Кнут привесил за конец И пустился во дворец.
945—946 *I—III изд.*	И тотчас царя спросил, Для чего его будил.
Вместо 949—982 *I—III изд.*	«Ты мне должен отвечать, Как ты смел, урод, скрывать От моего разуменья, Находясь в моем владенье, Что имеешь ты добро — Жароптицево перо? . . . . «Отвечай же, супостат!» — «Ох, помилуй, виноват!» . . . .
949—954, 965—966 *Автограф ЦГАЛИ*	*отсутствуют*
Вместо 987—991 *I—III изд.*	Мне сказали, что Жар-птицу
Вместо 997—1005 *I—III изд.*	. . . . Но смотри,

1010—1012 *I—III изд.*	Не являйся мне живой: Посажу тебя я на кол. Вон сейчас!» — Иван заплакал
1017—1018 *I—III изд.*	Но, увидя дурака, Он оставил трепака.
Вместо 1023—1027 *I—III изд.*	Чай, сгубили лиходеи!» —
1039 *I—III изд.*	Помнишь, ехавши в столицу,
1046 *I—III изд.*	Для чего я запрещал.
Вместо 1063—1067 *I—III изд.*	Царь велел, чтобы дворяна
1072—1073 *Список ГБЛ*	[Горбунок] Разбудил конек Ивана. «Гей, хозяин! [(тут сказал)] полно спать!
1074 *I—III изд.*	Уж пора тебе вставать».
1095—1110 *I—III изд.*	*отсутствуют*
1103—1104 *IV изд.*	Посреди же той поляны, Словно облачные станы,
1120 *I—III изд.*	Под другое сядь корыто.
IV изд.	Ты к другому сядь корыту.
1133—1134 *I—III изд.*	Говорит коньку дурак, Расстилая свой армяк. —
1138 *I—III изд.*	А дурак, кряхтя, подлез
1143 *I—III изд.*	Будто полдень наступает:
1150 *I—III изд.*	Разводя своей рукой.
1152 *I—IV изд.*	Эк их, дряней, привалило!
1155 *I—III изд.*	То-то б знатная пожива!

1162—1164 *I—III изд.*	И, ведя такую речь, Наш Иван на пол-аршина Вылез тихо на средину,
1163—1164 *IV изд.*	Наш Иван, кряхтя с надсады, Вылез кой-как из засады,
1174 *I—III изд.*	Опускай ее в мешок!
Вместо *1177—1194* *I—III изд.*	И, уладив меж собой, Воротилися домой.
Вместо *1198—1206* *I—III изд.*	«Прикажи-ка, царь, закрыть У твоей опочивальни Крепко-накрепко все ставни, Знашь, чтобы не свéтил свет», — Говорит Иван в ответ.
1206 *Список ГБЛ*	Знашь, чтоб не светил бы свет».
1208—1212 *I—III изд.*	Ставни крепко запирали Тот защелчкой, тот ключом. Вот Иван тряхнул мешком. Свет невиданный — в светлице От тоё пошел Жар-птицы.
1219—1220 *I—III изд.*	Говорит Иван со смехом. — Видишь, знатную потеху
1223 *I—III изд.*	«Ну, спасибо, брат Ванюша!
1226 *I—III изд.*	Будь ты царский стремянной!»
1239 *I—III изд.*	Попивали из стакана
1269 *I—III изд.*	Нам девиц-то поскорей!
1282 *I—III изд.*	Что девица в нем живет;
1285 *I—III изд.*	Солнце старший будет брат.
1290 *I—III изд.*	В окияне правит том;
1294 *I—IV изд.*	И со всех что было ног

1325—1326 *I—III изд.*	И сонного дурака Привели без армяка.
1329—1330 *I—III изд.*	Говорят, что ты сейчас Похваляешься для нас
Вместо *1333—1341* *I—III изд.*	. . . . Но смотри,
1333—1334, *1341—1348* *Автограф* *ЦГАЛИ*	*отсутствуют*
1343—1344 *I—III изд.*	В нашу царскую светлицу Не достанешь Царь-девицу,
1346—1348 *I—III изд.*	Не останешься живой: Посажу тебя я на кол. Вон сейчас!» — Иван заплакал
1346—1347 *IV изд.*	Где-нибудь, хоть под водой, Посажу тебя я на кол.
1354—1355 *I—III изд.*	У его вертяся ног. — Знать, сгубили лиходеи!»
1385—1387 *I—III изд.*	Да вели-ка поспешать, Чтобы время не терять». Царь велел, чтобы дворяна
1394 *I—III изд.*	Уж пора тебе вставать!»
1398 *I—III изд.*	И обеденный прибор —
1409 *I—III изд.*	Напоследок, в день восьмой,
1415 *I—II изд.*	Два лишь раз на берег сходит
III изд.	Два лишь раза на брег сходит
1416—1420 *I—III изд.*	Это время уж приходит». — И пред утренней зарей Пробегает лес густой И выходит на поляну Прямо к морю-окияну,

1439—1440	Да держи ее сильнее
I—III изд.	И зови меня скорее.
1444	Ты под гусли не засни же!
I—III изд.	
1446	То в последний раз глядишь».
I—III изд.	
1455	«Хе! Так вот та Царь-девица!
I—III изд.	
1464	Словно взята у цыпленка!
I—III изд.	
1468	И так сладко припевала,
I—III изд.	
1470	Опустился на армяк
I—III изд.	
1476—1480	Говорит ему сердито:
I—III изд.	«О, дурак ты записной!
	Что наделал ты с собой?
	Ведь тебя посадят на кол!» —
	Тут Иван-дурак заплакал
1487—1488	Пособить еще возможно,
I—III изд.	Только будь поосторожней,
1494	То меня уж не найдешь».
I—III изд.	
1497—1500	От разбитых кораблей
I—III изд.	Под спину свою гвоздей
	Для того, чтоб пробудиться,
	Если слишком разоспится.
1510	Захотелось почивать.
I—III изд.	
1516	За косу ее хватает...
I—III изд.	
1521	Но садись ко мне скорей
I—III изд.	
1523	Вот в столицу приезжают.
I—III изд.	
1532	Согласися быть царицей!
I—III изд.	
1536—1537	И во время темной ночи
I—II изд.	И среди святого дня

III изд. *Список ГБЛ*	И во время темной ночи И среди светлаго дня
1543 *I—III изд.*	Поцелуй же, дорогая!»
1550 *I—III изд.*	Ручки нежно целовал
1555 *I—III изд.*	Отвечай же, несравненна!»
1557—1558 *I—III изд.*	«Если любишь ты меня, То доставь чрез три мне дня
1567—1570 *I—III изд.*	С перстнем в третий день явися, Да смотри, поторопися. Я те щедро награжу И в бояры посажу!»
1582 *I—III изд.*	«Эй, посланник, подожди, —
Вместо *1587—1594* *I—III изд.*	Отчего она три ночи Не показывала очи? И зачем вот три уж дня Братец скрылся от меня?
1599 *I—III изд.*	Чтоб в родне-то мне не сбиться».
1602 *I—III изд.*	«Да смотри ж, скорей назад!» —
1615 *II—IV изд.*	Дал мне сроку три дня только;
1620—1622 *I—III изд.*	Солнцу-братцу поклониться, Да и Месяцу потом Отвезти от ней поклон».

ЧАСТЬ 3

1650 *I—III изд.*	После сказочка начнется.
1666 *I—III изд.*	И еще на первый вечер
1681 *III изд.*	Чтоб ты в солнечном селенье
1705 *I—III изд.*	— «Мы посланники царицы,

1713—1714
I—III изд.

И какое повеленье
Мне исполнить для прощенья?»

1722
I—III изд.

Сам же тяжко воздыхает.

1726
I—III изд.

И по берегу пустился;

1729—1730
I—III изд.

Будто сделалась погодка.
Едут долго ли, коротко,

1741—1744
I—III изд.

Тут Иван на небо въехал
Да по небу и поехал
Избоченясь, будто князь,
Шапку набок, подбодрясь.

1751—1752
I—III изд.

Ведь у нас земля черна,
И темна-то, и грязна;

1757—1758
I—III изд.

Словно светится гнилушка...
Чай, крестьянская избушка!

1758
IV изд.

Чай, небесная столица...

1765—1770
I—III изд.

А как день-деньской приходит,
То сюда и месяц входит.

Подъезжают к воротам.
Сто столбов по сторонам,
Все столбы те голубые,
А верхушки золотые;

1795—1796
I—III изд.

Как явился в сей стране —
Всё вполне поведай мне!

1799
I—III изд.

Говорит ему Иван,

Вместо
1801—1816
I—III изд.

С порученьем от девицы,
Нашей будущей царицы,
Чтоб тебя о ней спрошать,
После ей пересказать:
Для чего, дескать, три ночи
Не показывал ты очи,
И зачем-де три уж дня
Солнце скрылось от меня?»

1822
I—III изд.

Тут Иванушка Петрович

1836
I—III изд.

Всё бери, что только есть.

Вместо 1839—1849 I—III изд.	Так неможно и сказать, А не то чтоб описать. Оттого-то по три ночи Не показывал я очи; Оттого-то мой сынок Вот четвертый уж денек Не является к сестрице,
1855 I—III изд.	И суха-то, и тонка,
Вместо 1864—1888 I—III изд.	Не бывать ей за царем!»
Вместо 1890—1906 I—III изд.	В путь-дорожку собирался, Вдруг он дважды привскочил: «Эх! Немножко не забыл! Есть к тебе, родной, прошенье — То о китовом прощенье. . . Есть, вишь, море; чудо-кит Поперек его лежит. Все бока его изрыты, Частоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, Чтобы я тебе сказал: Скоро ль кончится мученье? Чем сыскать ему прощенье? И за что он тут лежит?» Месяц ясный говорит: «Он за то несет мученье, Что без божия веленья Проглотил он средь морей Три десятка кораблей. Если даст он им свободу, То сниму с него невзгоду».
1917—1921 I—III изд.	«Что, отец мой? В небе был ли? Мне прощенье испросил ли?» Тут конек ему кричит: «Погоди ты, рыба-кит!» Вот в селенье прибегает,
1941—1942 I—III изд.	Лишь на небе засмеркалось, То на ките не осталось
1946 I—III изд.	К перьям скоро прилегает
1949 I—III изд.	Оттого твое мученье,
Вместо 1954—1962 I—III изд.	Не потерпишь уж невзгоду». И, окончив это, вмиг Горбунок на берег прыг

	И на нем остановился. Чудо-кит поворотился,
1992—1994 *I—III изд*	Всё достать тебе готов!» — «Нет, кит-рыба, мне не надо Крупных жемчугов в награду, —
1997 *I—III изд.*	Перстень красной Царь-девицы,
1999—2000 *I—III изд.*	«Ладно, ладно! — рыба-кит Стремянному говорит. —
2003—2004 *I—III изд.*	Так кит-чудо отвечал И, всплеснув, на дно упал.
2025—2026 *I—III изд*	Ваша милость, обыскали, А всё перстня не видали.
2028 *I—III изд*	Мог исполнить твой приказ:
2035 *I—III изд.*	Кит во гневе закричал
2038 *I—III изд.*	В земский суд потом пустились
2042 *I—III изд.*	И ерша скорей поймали,
2067 *I—III изд.*	Недалёко на пруде
2098 *I—III изд.*	Бесурманской разной бранью! ..»
2110 *I—III изд.*	Он испрашивал прощенья.
2113 *I—III изд.*	Но за это преступленье
2115 *I—III изд.*	«Всё исполню, славный кит!»
Вместо *2124—2132* *I—III изд.*	Ерш пошел оттуда вон. С полминуты порезвился,
В списке *ГБЛ — зачерк-* *нуто и замене-* *но вариантом* *IV—V изд.*	В черный омут опустился И, разрыв на дне песок, Вырыл красный сундучок.
2126 *IV изд.*	За мульком поволочился

2134 *I—III изд.*	«Здесь, брат, дело-то не просто!»
2137 *I—III изд.*	Сельди разом собралися,
2140 *I—III изд.*	Что «У-у!» да «О-о-о!»
Вместо *2142—2150* *I—III изд.*	Сундучка всё не подняли. Ерш, не тратя много слов, Кликнул десять осетров. Вот десяток приплывает И без крика поднимает
2155 *Список ГБЛ*	Я ж ко дну теперь пойду
2155 *I—III изд.*	Я пойду теперь ко дну
2195 *I—III изд.*	Если ж нужен буду я,
2202 *I—III изд.*	Встал на ножки, отряхнулся,
2206 *I—III изд.*	Долг свой выполнил исправно!
2209—2210 *I—III изд.*	Что ж, хозяин, торопися, С сундучком скорей садися;
2220 *I—III изд.*	Я уж трижды поднимал:
2223—2224 *I—III изд.*	Поднял красный сундучок, Словно легкий камешок.
2227—2234 *I—III изд.*	Завтра рано поутру Мы приедем ко двору». На другой день до зарницы Приезжают во столицу. Царь выходит на крыльцо — «Что? привез ли ты кольцо?» — Царь Ивана вопрошает. «Да, — Ванюша отвечает, —
2236 *I—III изд.*	Прикажи-ка скликать полк;
2239 *I—III изд.*	Царь в минуту полк призвал
2243—2244 *I—III изд.*	И с улыбкой ей сказал: «Перстень твой, душа, сыскал,

2245 *IV изд.*	И теперь примолвить к слову,
2253 *I—III изд.*	Верю, верю! Но, признаться,
2257 *I—III изд.*	Мне, прости мою ты смелость,
2267 *I—III изд.*	. . . .
2284 *I—III изд.*	Ну, да что за нужда в том?
2292 *I—III изд.*	И, нахмурясь, отвечал:
2302 *I—III изд.*	Ведь нельзя перемениться:
2306 *I—III изд.*	Снова ты помолодеешь,
2309 *I—III изд.*	Челядь должен ты заставить
2311 *I—III изд.*	И таганы утвердить.
2313 *I—III изд.*	Из реки — водой студеной,
2317 *I—III изд.*	Если хочешь ты жениться
2319—2321 *I—III изд.*	Должен ты одним прыжком Обвариться молоком; Тут побыть в воде вареной,
2329—2331 *I—III изд.*	. . . .
2335 *I—III изд.*	И таганы утвердить.
2337 *I—III изд.*	Из реки — водой студеной,
2345 *I—III изд.*	. . . .
2349—2350 *I—III изд.*	. . . .
2355—2356 *I—III изд.*	. . . .

2363—2364 I—III изд.	Прикажу тебя терзать, В мелки части разорвать.
Вместо 2372—2378 I—III изд.	«Ох, беда мне, горбунок! — Наш Иван ему вещает. — Царь наутро заставляет
2387—2394 I—III изд.	*отсутствуют*
2396 I—III изд.	Как ты будешь на дворе,
2408 I—III изд.	В молоко сперва валяй,
2416 I—III изд.	Уж пора тебе вставать».
IV изд.	Время службу исправлять!»
2425 I—III изд.	Дров порою прибавляли,
2429—2431 I—III изд.	Вот и двери отворили; Царь с царицей выходили, Чтоб с высокого крыльца
2436 I—III изд.	Тут Иван одёжу снял,
2441—2442 I—III изд.	Повара и поваренки Отошли, смеясь, к сторонке.
2448 I—III изд.	Горбунка ко мне позвать?
2450 I—III изд.	Царь не медля согласился
2450 Список ГБЛ	Царь на это согласился
2452 I—III изд.	Горбунка тотчас позвать.
2460—2464 I—III изд.	В молоко сперва нырнул, Тут в котел с водой вареной, А оттудова в студеный. И такой стал молодец, Что хоть тут же под венец!
2481 Автограф ЦГАЛИ	Любо ль то вам? Отвечайте!
2493 I—III изд.	И с царицею младою

9

ЧАСТЬ 1

После строфы 3
Автограф ПД

«Чу! с редута палят!
Знать, сбираться велят», —
Казаки казакам закричали.
Сабли вмиг на ремень,
Кивера набекрень —
И на площадь бегом побежали.

«Что, ребята, палят?
Не в виду ль супостат?
Не в поход ли идти заставляют?
Наши сабли крепки,
Наши кони легки,
Наши ружья в мишень попадают.

Наш Безрукий-отец —
Атаман-молодец,
Поведет нас своей головою;
С ним и в зиму весна,
С ним и смерть нам красна», —
Казаки говорят меж собою.

«Тише! стройтесь в ряды!
Он поехал сюды», —
Казакам так хорунжий вещает.
Ходит взад и вперед,
Командиров ведет
И в ряды казаков уставляет.

Как сибирский буран,
Прискакал атаман
И за ним есаулы лихие.
Он на белом коне,
Карабин на спине,
В тороках пистолеты двойные.

Каска с белым пером,
Грудь горит серебром,
Закаленного сабля булата.
Он коня осадил,
Черный ус закрутил,
И вскричал им: «Здорово, ребята!

Завтра солнца в восход
Собирайтесь в поход
У степных дикарей жечь аулы.
И на эту орду
Я вас сам поведу,
И за мною пойдут есаулы».

Вдруг «Ура, атаман!» —
Пронеслось по рядам,
И казацкая кровь заиграла.
Громко сабли гремят,
Кивера вверх летят,
И вся площадь, как море, стонала.

Лишь один не кричал,
Одинокий стоял,
Опершися на саблю стальную.
То казак молодой,
И любимый женой,
И любивший жену молодую.

Когда холост он был,
И кутил, и рубил,
И в степях гарцевал с усачами.
Он бы рад на войну!
Жаль покинуть жену
С голубыми, как небо, очами!

21

32 *Орел*	Возросший в сумраке лесов, —
38 *Орел*	Мой первый взор был — томный взор
После 40 *Орел*	И гений родины печальной Облекся силою мечты В какой-то образ идеальный Непостижимой красоты!

34

Вместо 120—123 *Сибирский сборник,* *Списки ЦГАЛИ*	Таль и липу рядит в зелень, Куст шиповника румянит, Разноцветными коврами Вяжет по полю цветы.
371—372 *Сибирский сборник,* *Списки ЦГАЛИ*	Русский ждет моей лишь смерти. Пусть! О жизни не жалею.
После 830 *Сибирский сборник,* *Списки ЦГАЛИ*	О, когда б зари румяной Луч принес тебе отраду, О, когда бы изменилась Участь горькая твоя!

ПРИМЕЧАНИЯ

П. П. Ершов вошел в историю русской литературы как автор одного произведения — стихотворной сказки «Конек-горбунок». Остальные его сочинения, среди которых имеются образцы почти всех жанров, популярных в поэзии первой половины XIX в. (песня, послание, элегия, баллада, поэма, драма, альбомное посвящение, эпиграмма и т. д.), мало известны современному читателю. Судьба его литературного наследия до сих пор не выяснена. После смерти поэта его архив оказался разрозненным. «Книжечка с его последними стихотворениями» попала при разборе бумаг покойного в руки художника М. С. Знаменского.[1] «Томов семь, хорошо переплетенных», оставались у вдовы, Е. Н. Ершовой, и впоследствии бесследно исчезли. Часть архива находилась в руках его пасынка, Н. Н Лещева. Рукопись «Якутские божки» и некоторые другие бумаги сын поэта В. П. Ершов переслал петербургскому врачу, уроженцу Тобольска, А. П. Аристову.[2] После смерти Аристова (14 мая 1910) и Лещева (4 февраля 1913) все их материалы перешли к сотруднику Публичной библиотеки, палеографу и архивисту X. М. Лопареву, дальнейшая судьба их неизвестна. Немногое, оставшееся в архиве В. П. Ершова, погибло на Украине во время Великой Отечественной войны.[3]

Немногочисленные дошедшие до нас рукописи разрознены и разбросаны по разным архивохранилищам. Среди них первостепенный интерес представляют хранящиеся ныне в Омском краеведческом музее так называемые «Тобольские тетради» — единственное известное ныне рукописное собрание стихотворных произведений Ершова, послужившее основным источником посмертных публикаций.[4] «То-

---

[1] Письмо М. С. Знаменского к сестре, А. С. Знаменской, от 21 августа 1869 г. — ЦГАЛИ.

[2] См. переписку X. М. Лопарева с В. П. Ершовым, Н. Н. Лещевым, Л. Н. Знаменской и др. — Ленинградское отделение Архива АН СССР, ЦГАЛИ.

[3] Подробнее о судьбе архива Ершова см.: Л. В. Азадовская, К вопросу об издании «Полного собрания сочинений» П. П. Ершова. — «Сибирские огни», 1962, № 9, с. 168.

[4] Краткое описание «Тобольских тетрадей» см.: П. Кулыгин и Л. Мартынов, Пушкин и Ершов. — «Сибирские огни», 1937, № 1, с. 101; В. Утков. Тетради П. П. Ершова. — «Сибирские огни», 1946, № 4, с. 107.

больские тетради» представляют собой четыре переплетенных вместе сборника стихотворных сочинений Ершова, переписанных самим автором в конце 1850-х и в 1860-х годах. В первый из них вошли 25 стихотворений 1835—1839 гг., во второй — 23 стихотворения 1835—1848 гг., в третий — несколько альбомных посвящений, «Отрывки» и стихотворения последнего периода. Начало этого сборника утрачено. В оглавлении указано, что там были записаны «Зимний вечер» (1841), «Сцена в лагере» (1833), куплеты из пьесы «Суворов и станционный смотритель» и стих. «30-е августа 1849». Четвертую тетрадь занимает цикл эпиграмм на тобольского архитектора, относящийся, по всей вероятности, к 40-м годам. Каждая из первых трех тетрадей озаглавлена «Стихотворения П. Е» и снабжена оглавлением. Все стихотворения первых двух тетрадей датированы (иногда ошибочно, по памяти). Большинство стихотворений переписаны набело с более ранних источников. Как правило, их тексты совпадают с известными нам публикациями, некоторые содержат мелкие стилистические варианты, время возникновения которых установить невозможно. Отдельные стихотворения подверглись авторской переработке при переписке. Кроме перебеленных автографов, в тетрадях имеются наброски и черновики новых стихотворений, большинство из которых до сих пор не опубликовано. Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва) располагает фондом Ершова, сосредоточившим автографы, биобиблиографические материалы, статьи и воспоминания о писателе, а также несколько рукописных сборников, содержащих списки его произведений, сделанные в 1910—1930-х годах тоболяками — краеведами и общественными деятелями И. Юшковским, А. Г. Симоновой, И. Абрамовым по имевшимся в их распоряжении рукописям и печатным источникам. Списки и комментарии к ним подчас дают ценный материал для изучения творческой биографии Ершова, но содержат много ошибок и неточностей. Так, в списках Симоновой и Юшковского Ершову приписывается авторство поэмы «Абалак», принадлежащей перу тобольского поэта Е. Л. Милькеева и напечатанной в «Современнике» (т. 22, 1841) под псевдонимом «Эм — в» Несколько разрозненных автографов и списков имеются в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, там же — упоминания о Ершове в переписке разных лиц (среди них — М. А. и Н. Д. Фонвизины, И. И. Пущин, Н. П. Огарев и др.). Автографы и списки произведений Ершова, а также несколько писем его к разным лицам имеются в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Среди них особый интерес представляет тетрадь с неопубликованными автографами ранних стихотворений Ершова — «Монолог Святополка Окаянного», «Смерть Святослава», «Смерть Ермака», «Песня казака», дающих представление о творческих интересах молодого Ершова. В Литературном музее Пушкинского дома богато представлен иллюстративный материал к «Коньку-горбунку» и портреты его автора. В Центральном государственном историческом архиве (Ленинград) хранятся материалы по цензурной истории «Конька-горбунка», рукопись сборника, готовившегося к печати в 1910-х годах, и некоторые другие, в основном биографические материалы. В научном архиве Д. И. Менделеева при Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова хранится переписка Ер-

шова и членов его семьи с Д. И. Менделеевым и его женой, падчерицей Ершова, Ф. Н. Лещевой. В письмах содержатся ценные сведения о последних годах жизни писателя.[1] Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник располагает несколькими рукописями Ершова, коллекцией изданий «Конька-горбунка», иллюстрациями к нему, рисунками М. С. Знаменского и другими материалами.

Из всех сочинений Ершова неоднократно переиздавался при его жизни отдельным изданием лишь «Конек-горбунок».[2] Большинство стихотворений публиковались в «Библиотеке для чтения» Сенковского и в плетневском «Современнике» в 1830—1840-х годах, немногие напечатаны в других изданиях, ставших теперь библиографической редкостью. В начале 1847 г., по предложению книгопродавца А. Ф. Смирдина, Ершов задумал издание своих стихотворений, так и оставшееся неосуществленным. Затем он предполагал выпустить сборник, в который решился включить только «Конька-горбунка», поэму «Сузге» и пьесу «Суворов и станционный смотритель».[3] Издание это не состоялось, и ни одно собрание сочинений Ершова при жизни автора не увидело света. В 1910 г. по инициативе Тобольского губернского музея при деятельном участии сына и пасынка поэта — В. П. Ершова и Н. Н. Лещева, а также Х. М. Лопарева была предпринята попытка издать полное собрание стихотворений Ершова. Черновые материалы, хранящиеся ныне в ЦГИА, свидетельствуют о полноте и тщательной библиографической и текстологической подготовке сборника. Работа над ним была прервана в 1914 г. из-за отсутствия материальных средств у наследников автора.[4] Лишь в советское время увидело свет первое собрание произведений Ершова, научную подготовку которого осуществил М. К. Азадовский в первом издании Малой серии «Библиотеки поэта» (1936). В него вошли кроме «Конька-горбунка» восемь лирических стихотворений: «Тимковскому», «Молодой орел», «Желание», «Русская песня», «Послание к другу», «Палы», «Зимний вечер» и «Грусть». Более полное, но изобилующее существенными ошибками издание осуществлено через год в Омском областном издательстве.[5] Наиболее обширным по составу, но также не свободным от погрешностей является омское издание 1950 г., куда вошли «Конек-горбунок», «Сузге», «Суворов и станционный смотритель (драматический анекдот)», «Фома-кузнец», прозаические «Осенние вечера», 32 стихотворения и несколько эпиграмм. В Малой серии «Библиотеки поэта» сборники Ершова

---

[1] Характеристику этого архива см.: «Сибирские огни», 1964, № 7, с. 174.

[2] Характеристику семи прижизненных изданий сказки см. в примеч. 1.

[3] См.: «Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-горбунок». Биографические воспоминания университетского товарища его, А. К. Ярославцева», СПб., 1872, с. 124 (далее сокращенно — Ярославцев).

[4] Сведения о ходе работы над этим изданием имеются в переписке Х. М. Лопарева (ЦГАЛИ, ЛО Архива АН СССР).

[5] Сравнительную оценку этих изданий см. в рецензии Л. Н. Мартынова «Homo unius libri». — «Омская область», 1939, № 1, с. 75.

выпускались еще дважды: издание 1951 г. подготовлено В. Г. Утковым на основании омского издания 1950 г.; в 1961 г. опубликована под редакцией Б. Я. Бухштаба рукопись, подготовленная М. К. Азадовским в 1949 г. Настоящее издание, хотя и не включает в себя всего известного нам стихотворного наследия Ершова, является более полным по сравнению со всеми предшествующими. Помимо «Конька-горбунка», составляющего первую часть книги, сюда включено большинство известных в настоящее время стихотворных произведений Ершова. Впервые публикуются «Монолог Святополка Окаянного», «Смерть Святослава», «Смерть Ермака», «Песня казака», «Русский штык», «Один, спокоен, молчалив...», «На отъезд А. П. и С. П. Ж⟨илиных⟩», «Печальны были наши дни...», «Алексею Егоровичу Викторову», 16 эпиграмм, в том числе цикл эпиграмм на тобольского городского архитектора, послуживший источником одной из эпиграмм Козьмы Пруткова. Публикуются отрывки из водевиля «Черепослов», соавтором которого, без сомнения, был Ершов. Все эти сочинения входят во вторую часть книги под общим заглавием «Стихотворения». Жанровая принадлежность произведений Ершова не всегда поддается четкой классификации. Так, «Сибирский казак» и самим автором, и критикой определялся то как баллада, то как поэма, то как большое стихотворение; «Мою поездку» называют то лирической поэмой, то циклом стихотворений. В драматическом отрывке «Фома-кузнец», отрывках из либретто оперы «Страшный меч», сравнительно небольшой поэме «Сузге» и некоторых других сильна лирическая струя, позволяющая условно отнести их к разделу «Лирические стихотворения». Юмористические стихотворения выделены в самостоятельный раздел.

Произведения Ершова печатаются по тому прижизненному изданию или автографу, где текст окончательно установился. Варианты «Тобольских тетрадей» учитываются лишь в тех случаях, когда на тексте имеется авторская правка, свидетельствующая о его позднейшей переработке. Варианты беловых автографов из «Тобольских тетрадей» не принимаются во внимание ввиду невозможности установить их временно́е соотношение с текстом первой публикации. Данные списков ЦГАЛИ учитываются при отсутствии более авторитетных источников.

Проблемы текстологического характера возникают прежде всего при установлении окончательного текста «Конька-горбунка». Текстология сказки до сих пор не разработана, в научной литературе отсутствует единая точка зрения. Огромное количество публикаций, появившихся до настоящего времени, дают значительное число разночтений, возникших, как правило, в зависимости от вкуса текстологов. Задачей данного издания является публикация текста сказки, наиболее полно отражающего авторскую волю, насколько ее возможно установить на основании данных, имеющихся в распоряжении современного исследователя.

Атрибуция произведений Ершова в большинстве случаев не представляет затруднений, так как обычно он и в рукописи, и в печати подписывал их своей настоящей фамилией. Исключений немного: это, к примеру, несколько стихотворений, помещенных П. А. Плетневым в «Современнике» без подписи по просьбе автора («Ответ», «Храм сердца», «Оправдание», «Воспоминание», «A ma femme», «Три взгля-

да»), юмористическая поэма «Нос», опубликованная также без подписи драматические сцены «Кузнец Базим, или Изворотливость бедняка», помещенные в «Сборнике литературных статей... памяти ... А. Ф. Смирдина» (т. 3, СПб., 1858, с. 21) под псевдонимом «Тазбаши». Буквами «Т.-Б.» подписана прозаическая шутка «Академия современности для мужчин» в журнале «Весельчак» (1858, № 3, с. 21).

Значительно большие трудности представляет установление дат и расположение текстов в хронологической последовательности в тех случаях, когда стихотворение не датировано самим автором. Первым опубликованным произведением Ершова был «Конек-горбунок» Предисловие к публикации первой части сказки в «Библиотеке для чтения», написанное ее издателем О. И. Сенковским, начинается словами: «Мы должны предуведомить читателей, что поэма, которая следует за этими строками, есть произведение совершенно неизвестного им пера». Сам Ершов впоследствии называл «Конька» «своим первенцем». Однако нет никакой уверенности, что это первое написанное им произведение. Некоторые стихотворения, появившиеся в печати непосредственно после «Конька-горбунка», могли быть созданы или задуманы гораздо раньше, еще в гимназические годы.[1] Впоследствии, по возвращении в Тобольск из Петербурга, Ершов, по-видимому, посылал в столичные журналы стихотворения, написанные в годы студенчества, так как в письме к В. А. Треборну от 4 октября 1838 г. он признается: «Два года, как я не писал ни одного ⟨стихотворения⟩».[2] В настоящем издании даты уточнены по автографам, письмам, первым публикациям, воспоминаниям современников. Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком. При отсутствии данных для точной датировки принимается во внимание первая публикация (с учетом даты цензурного разрешения) как время, не позднее которого написано то или иное произведение.

Тексты печатаются по современной орфографии с сохранением индивидуальных и исторических особенностей, имеющих стилистическое или смысловое значение.

В разделе «Варианты» приводятся разночтения, наглядно демонстрирующие характерные особенности творческой работы автора. Варианты первых пяти отдельных изданий «Конька-горбунка» приводятся полностью, так как даже незначительная стилистическая правка дает возможность проследить творческую историю сказки.

Редакторские конъектуры и редакторские заголовки даются в угловых скобках. В квадратные скобки заключен текст, зачеркнутый автором.

В примечаниях указывается первая публикация и все последующие источники, содержащие какие-либо текстуальные изменения, затем источник текста, выделенный формулой «Печ. по...». Указанная формула не применяется, если известна только одна публикация. Далее приводятся сведения о наличии и местонахождении автогра-

---

[1] См. об этом: М. Азадовский, Первая глава биографии Ершова. — «Очерки литературы и культуры в Сибири», вып. 1, Иркутск, 1947, с. 157

[2] Ярославцев, с. 58.

фов, данные о творческой истории, поясняются имена, реалии и т. п. (при пояснении реалий учитывается контекст, в котором встречается поясняемое слово) Многочисленные скрытые цитаты и заимствования из произведений поэтов — современников Ершова в примечаниях не раскрываются Звездочка перед порядковым номером примечания означает, что в разделе «Варианты» приводятся разночтения к этому тексту.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

I изд. — «Конек-горбунок. Русская сказка. Сочинение П. Ершова. В III частях», СПб. 1834 (ц. р. — 4 июня 1834).

II изд. — «Конек-горбунок. Русская сказка. Сочинение П. Ершова. В III частях. Издание второе... Печатано с издания 1834 г. без исправления», М., 1840 (ц. р. — 22 декабря 1839).

III изд. «Конек-горбунок. Русская сказка. Сочинения П. Ершова. В III частях. Издание третье... Печатано с издания 1840 г. без исправления», М., 1843 (ц. р. — 19 марта 1843).

IV изд — «Конек-горбунок. Русская сказка в трех частях. Сочинение Петра Ершова Издание четвертое, вновь исправленное и дополненное. С семью картинками, рисованными на дереве Р. К Жуковским и гравированными Л. Серяковым», СПб., 1856 (ц. р. — 22 сентября 1855)

V изд. — «Конек-горбунок Русская сказка в трех частях. Сочинение Петра Ершова. С семью картинками, рисованными на дереве Р. А. Жуковским и гравированными Л. Серяковым. Издание пятое, вновь исправленное и дополненное», СПб., 1861 (ц. р. — 17 августа 1860).

БдЧ — «Библиотека для чтения».

Б. п. 1936 — П. Ершов, Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания М. К. Азадовского, «Б-ка поэта» (М. с.), 1936.

Б. п. 1951 — П. Ершов, Конек-горбунок. Стихотворения. Вступительная статья, примечания и подготовка текста В. Уткова, «Б-ка поэта» (М. с), 1951.

Б. п. 1961 — П. П. Ершов, Конек-горбунок. Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания М. К. Азадовского, «Б-ка поэта» (М. с), 1961.

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей.

ЖМНП — «Журнал министерства народного просвещения».

Изд. 1934 — П. Ершов, Конек-горбунок. Общая и художественная редакция А. Н. Тихонова. Подготовка текста, предисловие и примечания М. К. Азадовского, Academia, 1934.

ЛНС — «Литературное наследство Сибири», т. 1, Новосибирск, 1969.

Омск. изд. 1937—П. Ершов, Избранные сочинения, Омск, 1937.

Омск. изд. 1950 — П. П. Ершов, Сочинения. Редакция, комментарии и вступительная статья В. Г Уткова, Омск, 1950.

Орел — «Орел. Журнал учено-литературный иллюстрированный», СПб., 1859.

ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР.

С — «Современник».

«Сибирский сборник» — «Сибирский сборник», кн. 1, СПб., 1886.
Тт — «Тобольские тетради».
Тобольский музей — Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР (Ленинград).
ц. р. — цензурное разрешение.
Ярославцев — «Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-горбунок». Биографические воспоминания университетского товарища его, А. К. Ярославцева», СПб., 1872.

1. КОНЕК-ГОРБУНОК

Отрывок (ч. 1 и ст. 709—730 из ч. 2) — БдЧ, т. 3, 1834, с. 214; полностью — I изд. (обе первые публикации — др. ред., с цензурными пропусками, обозначенными соответствующим количеством строк точек); IV изд. Печ. по V изд, с исправлением опечатки в ст. 2093, перешедшей по недосмотру из III изд. во все последующие. Автограф — ЦГАЛИ. Списки — ГБЛ, ПД, ЦГАЛИ.

Сведений о первоначальном замысле и истории создания сказки почти не сохранилось. Первый биограф Ершова А. К. Ярославцев сообщает, что в университетские годы поэт рассказывал сказки своему другу В. А. Треборну, «между прочими и про «Конька-горбунка». Но и этому товарищу он не говорил, что сам пишет сказку» (Ярославцев, с. 14).

Рукописные источники «Конька-горбунка» очень бедны. Рукописи допечатного варианта, а также наборная рукопись IV изд., подвергшегося наибольшей авторской правке, не сохранились. Возможно, именно текст IV изд. имела в виду внучка писателя, Н. В. Ершова, сообщая о бумагах, переданных ее отцом в 1910 г. петербургским издателям: «Там было две рукописи «Конька», но даты их не помню, знаю только, что было много поправок, сделанных рукою деда, но, как говорил отец, значительно позднее, чем сама рукопись. Все они при мне были пересланы отцом доктору Аристову в Петербург». (ЛНС, с. 285). Большинство известных ныне списков в основном воспроизводят I изд. (реже — II и III изд.). Они возникли после того как сказка, сразу приобретшая широкую популярность и сделавшаяся библиографической редкостью, усердно переписывалась читателями с печатных изданий. Любопытное исключение представляют две рукописи — список ГБЛ и автограф ЦГАЛИ, тексты которых не совпадают полностью ни с одним из печатных изданий и носят на себе следы авторской правки. В списке ГБЛ первые две части восходят к I—III изд., а последняя (с наибольшим количеством изменений) — к IV—V изд. Отдельные стихи имеют разночтения, не соответствующие ни одному из печатных источников. Характер правки свидетельствует о том, что над этим вариантом автор работал в промежутке между выходом III и IV изд., то есть не ранее 1843 г., причем первоначально наибольшее внимание уделялось переделке последней части. Автограф ЦГАЛИ (неполный, по-видимому более

поздний) в основном совпадает с IV—V изд., с некоторыми отличиями. Отсутствие ст. 949—954, 965—966, 1333—1334, 1341—1348 показывает, что к переработке изъятого цензурой текста Ершов приступил в последнюю очередь, но значительно ранее, чем было представлено для печати IV изд.

Позднее, вернувшись к работе над сказкой, автор сделал более значительные изменения в тексте, главным образом в первой, затем во второй частях. Характер авторской правки устанавливается путем детального сопоставления семи прижизненных публикаций «Конька-горбунка» (не считая публикации первой части сказки в БдЧ), две из которых — первая и четвертая — явились основными источниками текста для всех последующих изданий.

Публикация сказки в 1834 г. (БдЧ и I изд.) осуществлена по инициативе П. А. Плетнева, который прочитал ее первую часть на одной из своих университетских лекций (см.: Ярославцев, с. 15). Согласно литературному преданию, начальные четыре стиха долгое время приписывались А. С. Пушкину и с 1915 г. включались в собрания его сочинений. Основанием для этого послужило сообщение П. В. Анненкова, со слов книгопродавца А. Ф. Смирдина, утверждавшего, что Пушкин «удостоил тщательного пересмотра» сказку Ершова (А. С. Пушкин, Собр. соч., под ред. С. А. Венгерова, т. 6, СПб., 1915, с. 219). Однако, по справедливому замечанию М. К. Азадовского, мало вероятно, чтобы Ершов в V изд. подверг правке пушкинский текст (см.: М. Азадовский, Пушкинские строки в «Коньке-горбунке». — «Временник Пушкинской комиссии», т. 2, М.—Л., 1936, с. 315—316). К тому же скорее всего Пушкин прочитал «Конька» уже после публикации: ни в одном из мемуарных источников нет сведений о его знакомстве с рукописью сказки (см.: Ярославцев, с. 2; М. С. Знаменский, Дневник. — «Сибирские огни», 1940, № 4-5, с. 239; ПД, ЦГАЛИ), а переработку текста Ершов начал значительно позднее, уже после смерти Пушкина.

Ко времени публикации первой части в БдЧ было уже подготовлено к печати I изд., появившееся спустя два месяца. Послесловие О. И. Сенковского в БдЧ заканчивалось словами: «Полная поэма г. Ершова состоит из трех таких же частей и в непродолжительном времени выйдет в свет особою книгою». Тексты этих двух первых публикаций, полностью совпадающие между собой, искажены цензурными вычерками. Согласно программе, утвержденной Николаем I по докладу министра народного просвещения П. А. Ширинского-Шихматова в 1849 г., в книгах, «назначаемых для чтения простого народа», не должно было быть «не только никакого неблагоприятного, но даже и неосторожного прикосновения к православной церкви и установлениям ее, к правительству и ко всем поставленным от него властям и законам» (М. Лемке, Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия, СПб., 1904, с. 258). Свидетельства современников дают некоторое представление о характере цензурных требований того времени. По воспоминаниям Н. В. Дризена, «рассматривая пьесы, касавшиеся королевского или царского быта, цензура делила их на две части... Если в отношении иноземных государей цензура иногда допускала поблажку... то русские венценосцы оберегались ею свято. Почти о каждом подобном случае делался особый доклад государю» (Н. В. Дризен, Драматическая цензура двух

эпох. 1825—1881, с. 10). Строго соблюдалось «недопущение на сцену изображения храмов, церковной обрядности и пр.» (там же, с. 96), вызывали сомнение «простонародные» сюжеты. П. А. Плетнев писал В. А. Жуковскому 11 марта 1833 г.: «Вы, конечно, не забыли доктора Даля... Перед рождеством издал было он книжку своих сказок; только в них что-то нашли непозволительное или слишком простонародное, и книжка не пущена в продажу» (П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, СПб., 1885, т. 3, с. 527). Подобным придиркам подвергся и «драматический анекдот» самого Ершова «Суворов и станционный смотритель», запрещенный дважды — в 1836 и 1839 гг. (см.: Н. В. Дризен, указ. соч., с. 80). Сравнение первопечатного текста со второй редакцией показывает, что к сказке Ершова были предъявлены именно такого рода претензии и заменены точками главным образом те строки, в которых наиболее явно выражалось ироническое отношение к царю и его окружению (ср. аналогичные изъятия в «Сказке о золотом петушке» Пушкина, напечатанной в БдЧ в 1835 г. — «Царствуй, лежа на боку...» и т. п.).

А. К. Ярославцев вспоминает о намерении Пушкина «содействовать Ершову в издании этой сказки с картинками и выпустить ее в свет по возможно дешевой цене, в огромном количестве экземпляров для распространения в России; но, при недостаточных средствах автора и по случаю смерти Пушкина, намерение это не выполнилось» (Ярославцев, с. 2).

Следующие два издания печатались в Москве без наблюдения автора после его переезда в Тобольск и стереотипно повторяют первопечатный текст. Немногочисленные разночтения III изд. (их всего шесть) сводятся к типографским ошибкам, из которых одна — «Будьте милостивы, братцы» (ст. 2093) — перешла во все последующие прижизненные издания по недосмотру и в наст. изд. заменена первоначальным вариантом: «Будьте милосливы, братцы», более соответствующим народно-разговорному стилю произведения (см. об этом ниже, с. 304). В 1847 г. Ершов безуспешно предлагал Смирдину переиздать сказку. Был ли это первоначальный или переработанный вариант, неизвестно. Переработка «Конька-горбунка» происходила между 1843 г. (выходом III изд.) и 1851 г., когда книгопродавец П. Крашенинников представил в цензурный комитет присланную ему автором рукопись для напечатания новым изданием. Организация и финансирование этого предприятия были поручены находившемуся в то время в Петербурге пасынку Ершова Н. Н. Лещеву (см. об этом.: В. Бурмин, Тобольские дни П. П. Ершова. — «Омский альманах», кн. 2, 1940, с. 186), а подготовку рукописи к печати и, по-видимому, некоторую стилистическую правку текста взял на себя П. А. Плетнев. 10 июня 1851 г. Ершов писал ему: «Книгопродавец Крашенинников снова сделал мне предложение об издании «Конька» по исправленной рукописи, которая теперь цензируется. Я писал к нему, чтобы он доставил Вам рукопись и всякое Ваше замечание исполнил бы беспрекословно. Вы первый ввели «Конька» в свет; надеюсь, что и теперь не откажете ему в Вашем содействии» (ПД). Трижды — в 1851, 1854 и 1855 гг — рукопись, а затем и представленный вместо нее текст III изд. отклонялись как «не соответственные современным понятиям и образованности». Только после апелляции издателя к министру народного просвещения

А С. Норову при содействии А. В. Никитенко были отменены поправки, на которых настаивали цензоры Елагин и Крылов, и сказка одобрена к печати четвертым изданием по представленной автором рукописи без каких-либо изменений (подробности ее цензурной истории изложены в «Деле С.-Петербургского цензурного комитета о рассмотрении сказки «Конек-горбунок», соч. П. Ершова, для нового издания». — ЦГИА).

IV изд. представляет собой значительно переработанный текст, по существу — вторую редакцию сказки. Изменения касаются прежде всего изъятого цензурой текста. В большинстве случаев мы не располагаем достаточными данными для определения степени его переработки (см., например, ст. 913—914, 2349—2350, 2355—2356). Некоторые основания для предположений есть лишь в тех случаях, когда обозначенные точками строки рифмовались с предыдущими и последующими, или когда количество строк точек не совпадает с количеством строк нового текста. Там, где строки, рифмующиеся с вычеркнутыми, в IV изд. не изменены, можно с некоторой долей вероятности предполагать восстановление текста в первоначальной редакции (ст. 900—901, 2267, 2329—2331, 2345). Несомненно переделаны ст. 669—671, за которыми в I—III изд. следовал ст. «Тут подкликнул он коней», измененный в IV изд. на «Тут он кликнул скакунов». Ст. 949—982, 997—1005, 1333—1341 являются, по-видимому, переработанным и расширенным текстом, так как в I—III изд. им соответствует иное количество строк. Но и здесь нет никаких оснований предполагать, как это делали многие исследователи, что Ершов значительно смягчил сатирическую остроту и демократичность текста под влиянием цензурных требований (см.: П. Черных, Заметки о языке «Конька-горбунка». — «Новая Сибирь», 1936, кн. 11, с. 139; М. Азадовский, Литература и фольклор. Очерки и этюды, Л., 1938, с. 132; Б. п. 1951, с. 199; Б. п. 1961, с. 171). Наоборот, некоторые места оказались более острыми в цензурном отношении (см. ст. 949—982). Социальные акценты усилены и при переработке многих других мест, не подвергшихся цензурным искажениям. Правка в большинстве случаев подчеркивает сатирические характеристики царя и придворных, независимое и пренебрежительное отношение к ним Ивана (см. ст. 750—754, 798, 819—847, 869—870, 891—894, 987—991, 1010—1012, 1198—1206, 1346—1348, 1864—1888). Контекстуальным сопоставлением двух редакций убедительно опровергается утверждение, что отдельные строки IV изд. несут меньшую социальную нагрузку (см. И. П. Лупанова, О двух изданиях (первом и четвертом) сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок». — «Русский фольклор. Материалы и исследования», вып. 3, М.—Л., 1958, с. 334). Лишь через три года, при смягченных цензурных условиях 1855 г. эта редакция смогла увидеть свет. Всего в тексте этой редакции насчитывается около 300 разночтений по сравнению с предыдущими изданиями. Многие сцены дополнены живыми реалистическими подробностями, введены новые эпизоды, диалоги, авторские отступления, придающие рассказу сочный народный колорит. Кроме того, в текст внесены многочисленные языковые изменения, небольшие по объему, но существенные в стилевой системе произведения (они составляют около половины всех исправлений), последовательно приближающие изложение к народно-разговорной

речи, усиливающие впечатление живости, «сказочности» (подробно см. об этом в кн. И. П. Лупановой «Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века», Петрозаводск, 1955, с. 208). Как ни тщательно работал Ершов над новой редакцией, некоторые авторские поправки сделаны наспех, без учета контекста. Так, ст. 36: «Завалился на сенник» исправлен на «Закопался под сенник», а ст. 38: «С сенника дозорный сходит» оставлен без изменения; ст. 1290: «В окияне правит том» исправлен на «Самолично правит в нем», чем нарушено согласование с предыдущими стихами.

Стилистическая правка завершена в V изд., «вновь исправленном и дополненном», как указано в выходных данных. Немногочисленные текстовые изменения этого издания в основном согласуются с упомянутыми выше принципами авторской переработки текста. Исключение составляет ст. 1615: «Дал мне сроку три дня только» — возможно, результат типографской ошибки. В ст. 401—402: «Так и этак мы решили, наконец вот так вершили», — вероятно, вкралась ошибка при авторской правке (в Б. п. 1961 исправлено: «Так и этак мы вершили, наконец вот так решили»).

Попытки современных публикаторов не только очистить текст от цензурных и типографских искажений, но и устранить противоречия, возникшие в процессе творческой работы автора, приводили подчас к созданию контаминированных редакций, произвольно сводящих воедино варианты разных изданий в зависимости от вкуса публикаторов. Таковы Изд. 1934, Омск. изд. 1937, Омск. изд. 1950, Б. п. 1951. В основу изд. Б. п. 1936 положен текст IV изд. без учета последующей авторской правки. В Б. п. 1961 принят текст V изд. (без исправления опечаток и без развернутой текстологической аргументации). В настоящем издании принимается текст, апробированный автором в V изд., с исправлением только явных типографских опечаток.

14 июня 1856 г. Ершов посылает Ярославцеву «похвальное слово своему первенцу»: «„Конек“ мой снова поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь! Крестный батюшка его, Крашенинников, одел его очень чисто и хвалит крестника напропалую. Журнальные церберы пока еще молчат... Но ведь конек и сам не прост: заслышав, тому уже 22 года, похвалу себе от таких людей, как Пушкин, Жуковский и Плетнев, и проскакав за это время всю долготу и широту русской земли, он очень мало думает о нападках господствующей школы и тешит люд честной, старых и малых, и сидней, и бывалых, и будет тешить их, пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т. е. до скончания века» (Ярославцев, с. 155).

При жизни автора (в 1865 и 1868 гг.) вышли в свет еще два издания, без авторского надзора. Они изобилуют (в особенности последнее) опечатками и искажениями и при установлении авторской воли не должны приниматься во внимание. Основные отношения с издателями поддерживал, по доверенности больного автора, Д. И. Менделеев (см.: «Сибирские огни», 1964, № 7, с. 174, с. 178—179). После смерти Ершова «Конек-горбунок» неоднократно перепечатывался и породил большое количество различных подражаний, подделок и пересказов (см.: И. П. Лупанова, Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века, Петрозаводск, 1955, с. 208). В советское время он выдержал уже около двухсот

изданий и подвергся тщательному научному изучению. (Подробная библиография изданий сказки на русском языке и в переводах приведена в кн. В. Г. Уткова «Дороги „Конька-горбунка“» (М., 1970). Там же имеются сведения об иллюстрациях, инсценировках и экранизациях.)

Сказка Ершова, имевшая несомненный читательский успех, критикой была встречена противоречиво. Литературные отзывы отразили резкое размежевание взглядов на проблемы народности в русской литературе и на жанровые особенности литературной сказки (см. об этом вступ. статью, с. 10). БдЧ сопроводила публикацию восторженным отзывом О. И. Сенковского: «„Библиотека для чтения“ считает долгом встретить с должными почестями и принять на своих страницах такой превосходный поэтический опыт, как „Конек-горбунок“ г. Ершова, юного сибиряка, который еще довершает свое образование в здешнем университете. Читатели сами оценят его достоинства — удивительную мягкость и ловкость стиха, любезную простоту, веселость и обилие удачных картин, между которыми заранее поименуем одну — описание конного рынка, картину, достойную стоять наряду с лучшими местами русской легкой поэзии» (БдЧ, т. 3, 1834, с. 214). Первое отдельное издание отмечено положительными отзывами «Северной пчелы» (5 октября 1834, № 225), ЖМНП (1834, ч. 4, с. 142), БдЧ (1834, т. 6, отд. 6, с. 1) и «Летописи факультетов на 1835 г.» (СПб., 1835, с. 29). Позднее Чернышевский одобрительно отозвался о сказке, напомнив о внимании к ней Пушкина (см.: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 2, М., 1949, с. 444). Иной характер носили отзывы Белинского в «Молве» (1835, № 9) и Станкевича (см.: «Переписка Н. В. Станкевича», М., 1914, с. 296). Отрицательную оценку получили II и III изд. в «Сыне отечества» (1840, т. 2, кн. 1, с. 196) и «Отечественных записках» (1840, т. 8, отд. 6, с. 57; 1843, т. 30, отд. 6, с. 1). Вторая редакция сказки при жизни автора не вызвала сколько-нибудь заметных критических откликов.

Ч. 1. *Сенник* — сеновал, сенной сарай; сенная постель. *Лубок* — дешевая, ярко раскрашенная картинка. *Малахай* — меховая шапка с ушами. *Черная бабка* — кость надкопытного сустава коровы, употребляемая в игре как бита. *Балаган* — шалаш, сарай. *«Ходил молодец на Пресню»* — песня на слова А. О. Аблесимова (1742—1783) из комической оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват» (1779). *Жомы* — тиски. *Зельно* — сильно; очень. *Яхонт* — рубин. *Седмица* — неделя. *Благой* — дурной, блаженный. *Немцы* — иностранцы. *Бусурманить* — обращать в магометанство. *Буерак* — яма, овраг. *Загреби* — горсти. *Переться* — спорить, пререкаться. *Некорыстный живот* — небогатая жизнь. *Намеднишний* — недавний. *Вершить* — кончать, завершать, решать. *Позвонок* — бубенец. *Курево* — костер, дым, отгоняющий мошкару. *Петь* — вопросительная частица. *Станичники* — разбойники. *Шайтан* — черт. *Гости* — купцы. *Содом* — беспорядок, суматоха. *Сафьянный* — сделанный из козловой кожи особой выделки. *Приказ* — управление, распоряжение; учреждение, ведавшее отдельной отраслью управления. *Ендова* — большой сосуд для пива или вина. *Суседка* — домовой.

Ч. 2. *Коурко* (каурка) — лошадь рыжеватой масти. *Спальник* — придворный, находящийся при царской спальне. *Сыта* — медовый взвар, пойло, замешанное на меду. *Притча* — внезапный дурной слу-

чай. *Нешто* — пожалуй, в случае чего; неужели. *Бесурманин, басурман* — магометанин; иноверец, иноземец. *Ворожей, чернокнижник* — колдун, злой волшебник. *Конюший* — ведавший конюшнями. *Сусек* — отгороженное место для ссыпания зерна в амбаре. *Ражий* — крепкий, здоровый. *Прозумент* (позумент) — шитая золотом тесьма. *Белоярое пшено* — пшено, кукуруза; отборный корм для коней. *Зориться* — рассветать. *Еруслан* Лазаревич — сказочный русский богатырь, персонаж многих лубочных изданий. *Таловый* — ивовый. *Вдругорядь* — второй раз. *Рядовой* — нечиновный, простой человек. *Срядиться* — собраться. *Пошто* — зачем. *Ровно* — как будто. *Ажно* — разве. *Шабалки* — шабаш, кончено. *Рядиться* — торговаться. *Правеж* — пытка. *Решетка* — тюрьма. *Дрягнуть* — дернуть, лягнуть. *Тоё* — ту (винит. пад. местоимения «та»). *Надсесться* — надорваться. *Решеточные* — тюремные сторожа, исполнявшие и обязанности пожарных. *Стремянной* — придворный, подводивший господину коня. *Немские страны* — зарубежные государства. *Николи* — никогда. *Сиречь* — то есть, иначе говоря. *Ширинка* — расшитое широкое полотенце. *Балясы* — болтовня, пустые разговоры.

Ч. 3. *Доселева Макар огороды копал, А нынече Макар в воеводы попал; Словно шел Мамай войной; Для дружка И сережку из ушка* — русские народные пословицы и поговорки. *В почин* — для начала. *Вина* — причина. *Прошать* — просить. *Решиться* — кончиться. *Налой* (аналой) — высокий столик, вокруг которого водят жениха и невесту при венчании. *Живот* — имущество. *Перья* — плавники. *Причет* — церковнослужители одного прихода. *«Как по моречку, по морю...»* — вероятно, вариант народной песни «Как по морю-морюшку по Хвалынскому...» (напечатана в кн.: С. В. Максимов, Собр., соч., т. 4, СПб., 1871, с. 160). *Плес* — рыбий хвост. *Думный* — заседающий в царской думе (государственном совете). *Принудиться* — пригодиться, понадобиться. *Учиниться* — сделаться. *Болесть злая* — падучая. *Льзя* — можно. *Талан* — счастье, судьба. *Фряжское* — заморское, иностранное.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

2. Печ. впервые по автографу ПД. Судя по почерку автографа, это и три следующие стих. относятся к раннему периоду творчества Ершова (см. также примеч. 4). Стих. № 2—4 представляют собой своеобразный цикл стихотворений, связанных единством тематики и выразительных средств, характерных для романтической школы 30-х годов и особенно для декабристской поэзии (обращение к драматическим эпизодам русской национальной истории, лирическое эмоциональное начало, трагические судьбы героев). Исторической основой стихотворений являются летописные предания, изложенные в «Истории государства Российского» Карамзина; ближайшим литературным образцом для Ершова послужили думы Рылеева «Святослав», «Святополк», «Смерть Ермака» (о широкой популярности дум Рылеева и порожденных ими многочисленных подражаний см.: В. И. Маслов, Литературная деятельность К. Ф. Рылеева, Киев, 1912). На ту же тему написаны сага В. К. Кюхельбекера «Святополк Окаянный»

(1823) и дума П. Шкляревского «Святополк» (1823). *Святополк* (ок. 980—1019) — туровский князь, сын Ярополка Святославича (945—980), предательски убитого в борьбе за власть по приказу своего брата, князя киевского Владимира Святославича, который женился на его вдове и усыновил Святополка. Святополк продолжил борьбу за киевский стол при поддержке своего тестя, польского короля Болеслава (992—1025) и в междоусобной борьбе убил своих братьев — князей Бориса Ростовского, Глеба Муромского и Святослава Древлянского, за что получил прозвище *Окаянного*. Впоследствии потерпел поражение от Ярослава Новгородского, пытался бежать в Польшу и в пути умер.

3. Печ. впервые по автографу ПД. См. примеч. 2. *Святослав* Игоревич (ок. 942—972 или 973) — великий князь киевский, выдающийся полководец. Погиб у Днепровских порогов на пути в Киев в сражении с печенегами, союзниками греков. По преданию, из черепа Святослава печенеги сделали чашу и пили из нее на пирах. *Свенельд* — воевода, служил нескольким киевским князьям, участвовал в походах Святослава против болгар и греков. *Бельбог* (слав. миф) — имя одного из верховных божеств, олицетворяющего светлые силы природы и противопоставленного Чернобогу, олицетворяющему власть тьмы. *Ольга* (ум. 969) — великая княгиня киевская, мать Святослава Игоревича.

4. Печ. впервые по автографу ПД. Подражание одноименной думе Рылеева (см. примеч. 2). Существует предположение, что сонет написан в Тобольске еще до переезда Ершова в Петербург (см.: М. К. Азадовский, Очерки литературы и культуры в Сибири, вып. 1, Иркутск, 1947, с. 157). Сибирская тематика не могла не интересовать будущего поэта, вращавшегося в кругу тобольской интеллигенции, внимание которой в то время было всецело обращено к истории и культуре Сибири. Однако это достаточно зрелое по форме и теме произведение было создано Ершовым, скорее всего, не в гимназические годы, а уже после переезда в Петербург, где он встретил тот же интерес к Сибири со стороны столичных писателей. Идеализация казачества, характерная для многих литераторов 30-х годов, ведет свое начало от декабристов (см: М. К. Азадовский, Литература и фольклор, Л., 1938, с. 16—17). Историей Ермака живо интересовался в эти годы и Пушкин, просивший прислать о нем сведения своего друга В. Д. Соломирского, служившего в Тобольске (см.: Пушкин, Полн. собр. соч., т. 16, изд. АН СССР, 1949, с. 40). *Ермак* Тимофеевич (ум. 1585) — казачий атаман, предводитель сибирского похода, в результате которого распалось сибирское ханство Кучума и было положено начало присоединения Сибири к русскому государству. Утонул в реке Вагай во время сражения с отрядом Кучума.

5. Печ. впервые по автографу ПД. Связано с событиями русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Романтизация казачества (см. примеч. 4) здесь принимает официально-патриотическую окраску, свойственную некоторым более поздним произведениям Ершова. *Бусурманы* — см. примеч. 1.

6. Печ. впервые по автографу ПД. Датируется по расположению в рукописном альманахе Майковых «Подснежник» вместе с драмати-

ческим отрывком «Сцена в лагере», о котором А. К Ярославцев сообщает: «В 1833 году написана им «Сцена в лагере» под впечатлением бесед с братом о духе русского солдата» (Ярославцев, с. 39). *И с Суворовым штыками Окрестили мы Рымник.* Речь идет о победе русских и австрийских войск под командованием А. В. Суворова над турками при речке Рымник 11 сентября 1789 г. *Ретирада* — отступление. *Пардон* — просьба о пощаде. *И на Альпах всю дорогу Враг обставил лесом пик .. Мы пробили Апеннины.* Речь идет об итальянском походе Суворова в 1799 г.

7. БдЧ, т. 7, 1834, с. 5 Автограф — Тт 2, под загл. «Ночь в рождество Христово», с ошибочной датой: 1835; списки — ЦГАЛИ, с датой: 1834, октябрь; ЦГИА Один из первых опытов молодого поэта в драматическом жанре. В основу сюжета положена евангельская легенда о Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Христа и приведшей к нему на поклонение пастухов и мудрецов. «Изящную простоту» отрывка отметил Я. Неверов в статье «Изящная словесность» (ЖМНП, 1835, ч. 7, с. 184). *Хитон* — одежда древних греков и некоторых народов Востока. *Вифлеем* — город в Палестине, к югу от Иерусалима, по Евангелию — место рождения Иисуса Христа. *Иордан* — главная река Палестины. *Ливан* — горный массив в Палестине. *Ключ Элеонский* — поток Кедрон, отделяющий Иерусалим от Масличной, или Элеонской горы, с которой, по Евангелию, связаны некоторые значительные события из жизни Иисуса Христа. *Иегова* — одно из священных имен бога в иудейской религии. *Тимпан* — древний музыкальный ударный инструмент. *Сион* — священная гора в Иерусалиме, в библейской традиции — символ царства божия на небе и на земле. *Криле* — крылья. *Рамена* — плечи. *Адам* (библ.) — первый человек на земле. *Моисей* (библ.) — легендарный пророк и законодатель, которому приписывается авторство иудейских законов и спасение иудейского народа из чужеземного плена. *Гавриил* (библ.) — один из четырех архангелов, божественный вестник. *Мессия* (библ.) — букв.: помазанник; спаситель, ниспосланный богом уничтожить зло на земле. Христианство приписывает мессианскую роль Христу, связывая ее со спасением всего человечества. *Вертеп вифлеемский* (еванг.) — пещера, где родился Христос.

8. БдЧ, т. 7, 1834, с. 12. Автограф — Тт 1, с ошибочной датой: 1835. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. Одно из первых проявлений интереса Ершова к песенному жанру. В 30-е годы, опираясь на фольклорные и на литературно-песенные традиции, он создает еще несколько песен, часть которых включает в состав более крупных произведений, в том числе прозаических и драматических («Русская песня», № 12; песня казачки из баллады «Сибирский казак», № 9; песня Луки из драматического отрывка «Фома-кузнец», № 18; «За морем синица не пышно жила. . .» из сцен «Суворов и станционный смотритель»; дуэт Часового и Часовой из либретто оперы «Страшный меч», № 26). Послужило источником популярной в 80-х годах песни «Как на дубе на зеленом» (см.: «Русское народное творчество в Башкирии», Уфа, 1957, с. 247, 318). Сохранился отзыв В. К. Кюхельбекера: «В «Библиотеке»... из стихотворений замечу прекрасной версификации «Молодой орел» Ершова» («Дневник В. К. Кюхельбекера», М —

Л, 1929, с. 222, запись от 21 декабря 1834). Упомянуто в статье Я. Неверова «Изящная словесность» (ЖМНП, 1835, ч. 7, с. 184).

***9.** Ч. 1 — БдЧ, т. 8, 1835 (ц. р. — 28 декабря 1834), с. 9; Ч. 2— БдЧ, т. 10, 1835, с. 11 (в оглавлении «Сибирский казак, Баллада П. П. Ершова»). Автограф — ПД, с вариантами. Списки — ЦГАЛИ (ч. 1, с вариантами), ЦГИА. Имеются сведения, что первая часть баллады в начале XX в. бытовала среди сибирских казаков «как любимейшая песня» безымянного автора (письмо отставного войскового старшины А. В. Бурова библиотекарю Публичной библиотеки X. М. Лопареву от 30 октября 1914 г. — ЦГИА; см. также: А. Седельников, Полное географическое описание нашего отечества. Под общей редакцией П. П. Семенова-Тян-Шанского, СПБ., 1903, с. 193). *Стихарь* — священная одежда, надеваемая во время христианских богослужений. *Заклепать* — зазвонить. *Пономарь* — церковнослужитель, в обязанности которого входило звонить в колокола и помогать при богослужении. *Достойная* — название церковной молитвы. *Фимиам* — благовонное курение. *Есаульство* — выборный командный состав при казачьем войске. *Иерей* — священнослужитель. *Варить* — хранить, оберегать. *Кивер* — военный головной убор. *Хоругвь* — священное знамя, выносится вместе с крестом во время торжественных церковных процессий. *Причет* — см. примеч 1. *Всемирная слава* — название молитвы. *Перун* — гром. *Рог* — сила, власть, могущество. *Десница* — правая рука. *Клир* — церковнослужители, относящиеся к одному приходу. *Языцы* — иноплеменники. *Денница* — заря. *Канон* — особая группа христианских богослужебных песнопений. *Урядник* — низший офицерский чин в казачьих войсках.

10. БдЧ, т. 13, 1835, с. 5, без даты. Автограф — Тт 1, с датой. Дефектная перепечатка — Орел, № 1, с. 37, под загл. «Песнь грека», с ошибочной датой: 1840 и примечанием: «Из дневника поэта», подпись: Петр П. Е. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. По мнению первого биографа поэта, это стих. — одно из «самых характернстичных» для молодого Ершова (Ярославцев, с. 34). Мотивы разочарования, мировой скорби, стремление к отъединению от людей и слиянию с природой роднят его с философско-романтической лирикой «любомудров» — ср. стих. А. С. Хомякова «Желание» (1827), спародированное позднее Козьмой Прутковым в стих. «Желание поэта» (1854). *Пигарг* — вид орла.

11. БдЧ, т. 9, 1835, с. 117, без даты. Автограф — Тт 1, с разночтениями и датой. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. Связано с предполагавшимся переездом Ершова в Тобольск, который осуществился позднее, в 1836 г. *Орел двуглавый* — символическое изображение в гербе Российской империи. *И клик победный огласил Поля пустынные Полтавы.* Имеется в виду битва со шведами под Полтавой в 1709 г. *Дерзкий галл* — Наполеон. *Прометей* (греч. миф.) — титан, похитил с Олимпа божественный огонь и принес его людям, за что боги приковали его к скале, куда прилетал орел и терзал его печень.

12. БдЧ, т. 10, 1835, с. 171, без даты. Автограф — Тт 1, с датой. Списки — ЦГАЛИ, с ошибочным примеч: «Скорбь поэта по умершей

жене»; ЦГИА, с примеч.: «Песня эта в свое время была положена на поты: «Уж не цвесть цветку в пустыне, русская песня. Слова П. П. Ершова, музыка К. Ш. 30 марта 1841 года». Под литерами К. Ш. скрывается, вероятно (по догадке Н. Н. Лещева), Константин Широков, музыкант, друг детей Ершова». В деревнях Среднего и Нижнего Прииртышья бытует как народная песня (см.: И. Коровкин, Народные песни Западной Сибири. — «Омский альманах», кн. 5, 1945, с. 90).

13. «Летопись факультетов на 1835 год, изданная в двух книгах А. Галичем и В. Плаксиным», кн. 1, СПб., 1835 (ц. р. — 30 апреля 1835), с. 4, с посвящением Ю. А. С., вариантами, купюрами и нумерацией главок. Печ. по БдЧ, т. 13, 1835 (ц. р. — 31 октября 1835), с. 163, без даты. Автограф — Тт 2, с датой. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. *Борей* (греч. миф.) — холодный северный ветер. *Перун* — гром.

14. БдЧ, т. 11, 1835, с. 5, без даты. Автограф — Тт 1, с датой. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. Посвящено сестре писателя К. П. Масальского. По воспоминаниям А. К. Ярославцева, около 1834—1835 гг. Ершов «довольно часто бывал в семействе университетского товарища своего, М⟨асальско⟩го... Он заинтересовался сестрою М⟨асальского⟩, и впервые вспыхнула в нем любовь, но ее потушила какою-то не понравившеюся ему выходкою сама М⟨асальская⟩... В стихотворении, вырвавшемся тогда же из молодой огорченной души его, он осыпал упреками легкомысленную изменницу, грозил ей мщением и заключил:

Но полно, скрылось обольщенье,
Любви завеса спала с глаз,
Я всё забыл уже — прощенье —
Вот месть, готовая для вас».

(Ярославцев, с. 30)

Удольный — земной.

15. Ярославцев, с. 25, без ст. 1—8; Б. п. 1936, с. 125. Печ. по автографу Тт 1. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. *Тимковский* Константин Иванович (ум. 1881) — сын цензора И. Тимковского, внук (по матери) известного восточносибирского промышленника и мореплавателя Г. И. Шелехова, товарищ Ершова по университету. Тимковский поступил во флот и в 1835 г. был откомандирован на службу в Российско-американскую компанию, основанную Шелеховым. Поводом для послания Ершова послужило отплытие Тимковского из Кронштадтского порта в кругосветное плавание на корабле «Елена» 5 августа 1835 г. (см.: В. Утков, П. П. Ершов, Новосибирск, 1950, с. 44). В 1836 г. Ершов получил от Тимковского последнее письмо из Америки. После возвращения его из плавания в 1837 г. общение их прекратилось (см.: Ярославцев, с. 55). Впоследствии Тимковский занимался литературной деятельностью, с 1848 г. стал активным участником кружка М. В. Петрашевского, с 1849 до 1857 г. отбывал наказание в арестантских ротах. О намерениях Ершова и Тимковского уехать в Сибирь с целью ее изучения и преобразования см. вступ. статью, с. 29.

16. БдЧ, т. 12, 1835, с. 17 без даты. Автограф — Тт 1, с датой. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. Написано, вероятно, в связи с двадцатилетием (1815—1835) победы над Наполеоном. Имеются в виду события Отечественной войны 1812 г.

17. «Осенний вечер, изданный В. Лебедевым», СПб., 1835, с. 19, без даты. Автограф — Тт 2, с датой. Список — ЦГАЛИ. *Холнуть* — нанести холод, остудить.

18. «Осенний вечер, изданный В. Лебедевым», СПб., 1835, с. 63. Автограф — Тт 2. Список — ЦГАЛИ. Песня старика *Луки* положена на музыку А. А. Алябьевым, публиковалась в песенниках, включалась в народную драму «Царь Максемьян» и бытовала в различных фольклоризированных вариантах (см.: «Песни и романсы русских поэтов», Б. п. (Большая серия), 1965, с. 1028). В письме к своему университетскому товарищу В. А. Треборну 16 июня 1840 г. Ершов писал: «Думаю также докончить «Фому-кузнеца» и возвратить ему доброе имя, запачканное мараньем какого-то писаки. Ты, я думаю, читал несчастную оперу «Фома-кузнец с берегов Иртыша». Не знаю, кому пришла в голову мысль — позабавиться над мной так низко» (Ярославцев, с. 72). Однако эта драматическая повесть в стихах так и не была завершена. Отзыв о песне Луки см.: БдЧ, 1835, т. 13, «Литературная летопись», с. 22. *Святой Егорий* — Георгий-победоносец, христианский святой, покровитель земледелия и скотоводства. *Притчина, притча* — внезапный несчастный случай. *Немецкой* — иностранный. *Ковы* — тайные коварные умыслы, козни. *Азям* — крестьянская верхняя одежда.

19. БдЧ, т. 39, 1840, с. 14, без даты. Автограф — Тт 2, с датой. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. *Феникс* (егип. миф.) — священная птица, погибающая в пламени и возрождающаяся из пепла; символ вечной жизни.

20. Ярославцев, с. 14. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. *Треборн* Владимир Александрович — автор шуточных стихотворений и переводов с немецкого, печатавшихся в «Сыне отечества», университетский товарищ Ершова, с которым он поддерживал дружескую переписку до конца жизни.

* 21. БдЧ, т. 16, 1836, с. 155, Орел, № 3—4, с. 3, отрывок, под загл. «Из дневника», с вариантами. Печ по автографу Тт 1 с авторской правкой, где загл. и первые два стиха переведены на английский язык. По мнению М. К. Азадовского, следующие варианты первой публикации вызваны цензурным вмешательством· ст. 3 — «Любви, веселья и свободы», ст. 69 — «При звуках славы песнопений», вследствие чего был изменен и ст. 67 — «Он не скрывал своих движений» (см: Б. п. 1936, с. 134). Посвящено К. И. Тимковскому (см. примеч. 15). Стих. рассматривалось как программное самим автором и критикой. Позднее литератор Ф. Г. Потанин иронизировал над приподнято-романтическими, далекими от реальности образами стихотворения. По поводу стихов *Мой первый взор был — грустный взор На льдистый берег океана, На снежный гроб высоких гор* он писал: «Это — положительная неправда. Поэт родился в д. Безруковой, в

1000 верстах от океана и в 1000 верстах от снеговых гор. Подобное вранье погубило поэта: вместо того чтобы наблюдать окружающий мир, наблюдать тобольского мужика, в деревенской среде искать материала для своей поэзии, он фантазировал об океане, которого не видывал» (Ф. Г. Потанин, Крымские письма сибиряка. Цит. по кн.: «Очерки литературы и культуры в Сибири», вып. 1, Иркутск, 1947, с. 159). *Брат* — Н. П. Ершов (1814—1834), учился на математическом факультете университета одновременно с поэтом. *Он улетал на берег дальный* и т. д. Имеется в виду остров св. Елены, где умер Наполеон, сосланный после событий «Ста дней» — блестящего завоевания Франции и поражения под Ватерлоо в 1815 г.

22—29. «Иллюстрированный вестник», 1876, № 7, с. 218; № 8, с. 247. Список — ЦГАЛИ. В редакционном предисловии к публикации либретто Ершова сообщалось: «Через два года после появления в печати «Конька-горбунка» он написал либретто русской волшебной оперы для известного знатока музыки г. Гунке. Неизвестно, почему опера эта не явилась на сцене, но она была одобрена к представлению еще в июне 1836 года цензором Евстафием Ольдекопом, как видно из экземпляра либретто, писанного рукою Ершова, переданного в собственность композитора и присланного в нашу редакцию почтенным г. Гунке» («Ершов и его русская опера». — «Иллюстрированный вестник», 1876, № 7, с. 218). Речь идет здесь об одном из друзей Ершова, известном в свое время композиторе И. К. Гунке (1801—1883), для которого поэт написал, по его собственному свидетельству, «три или четыре либретто опер», не дошедших до нас, среди них написанная в 1843 г. «Жених-мертвец» (см.: Ярославцев, с. 100). Возможно, «Страшный меч» подвергся такой же цензурной экзекуции, что и драматические сцены Ершова «Суворов и станционный смотритель» (см. вступ. ст. к наст. изд., с. 31). Действие оперы происходит во времена князя Владимира в южной Руси, где противоборствуют дружины князя Ратмира, обладателя «страшного меча», и волшебницы Всемилы, сила которой заключена в «волшебном кольце». Многочисленные битвы, приключения и волшебные превращения, в которых участвуют Неизвестный — посланец князя Владимира, дружинник Ратмира Олег, чародей Громвал и его дочь Любима, завершаются примирением враждующих сторон и обручением Ратмира со Всемилой. Отдельные сцены либретто, в частности дуэт Часового и Часовой, основаны на современных Ершову литературно-песенных традициях и сближают либретто с первыми национальными русскими операми — «Аскольдовой могилой» Верстовского (поставлена в сентябре 1835 г.) и «Иваном Сусаниным» Глинки (ноябрь 1836). Однако автору не удалось полностью выйти из-под влияния фантастико-романтического направления в духе «Роберта-Дьявола» Мейербера (см. примеч. 36). В предисловии к первой публикации обращалось внимание читателей на незаурядное драматургическое мастерство автора, стремление к точному соответствию текста и музыкальной основы произведения, талантливое сюжетное построение и т. п. (см. об этом также: Ярославцев, с. 18). *Лада* (слав. миф.) — богиня любви. *Чернобог* — см. примеч. 3. *Баян* — легендарный певец, упоминаемый в «Слове о полку Игореве», имя его стало нарицательным для обозначения певца, поэта.

30. С, 1837, т. 7, с. 293. Список — ЦГАЛИ, с разночтениями. Датировано В. Г. Утковым (Б. п. 1951, с. 179).

31. С, 1837, т. 7, с. 291. Список — ЦГИА. *Зеленый цвет* — символ надежды. *Кашемир* (Кашмир) — область в Индии, славящаяся долинами роз.

32. БдЧ, т. 30, 1838, с. 92, без даты. Автограф — Тт 1, с датой. *Хартия* — древняя рукопись. *Прометей* — см. примеч. 11.

33. С, 1837, т. 6, с. 95. Напечатано среди других стих., посвященных памяти Пушкина. *Илья* — былинный богатырь Илья Муромец.

* 34. С, 1838, т. 12, отд. 3, с. 41. Списки — ЦГАЛИ, с разночтениями, без ст. 7—12; ЦГИА. Текст, соответствующий спискам ЦГАЛИ, опубликован в «Сибирском сборнике», с. 48. По этому тексту восстанавливается пропущенный ст. 364. В списках и «Сибирском сборнике» главы имеют названия: 1 — «Царь Кучум», 2 — «Три просьбы», 3 — «Сузгун», 5 — «Рассказы», 6 — «Гонец», 7 — «Укрепление», 8 — «Махмет-Куль», 9 — «Совет», 10 — «Ермак», 11 — «Поход», 12 — «Старшина», 13 — «Осада», 14 — «Стрела», 15 — «Безнадежность», 16 — «Письмо», 17 — «Переговоры», 18 — «Сузге», 19 — «Последняя ночь», 20 — «Изгнанники», 21 — «Вход казаков», 22 — «Отплытие». После «Конька-горбунка» это наиболее популярное произведение Ершова. Поэма неоднократно перепечатывалась и инсценировалась, на ее сюжет тобольским композитором И. Корпиловым написана опера «Сузге» (либретто помещено в «Тобольских губернских ведомостях», 1896). Поэма закончена, по всей вероятности, в сентябре — октябре 1837 г. В письме к В. А. Треборну от 26 ноября 1837 г. Ершов сообщает: «С нетерпением жду весны, с которою снова намерен начать мои прогулки по всем четырем сторонам, и особенно посетить холм Сузге, о котором ты, может быть, узнаешь из «Библиотеки для чтения», куда я отправил, уже с месяц, небольшую повесть под названием „Сузге“» (Ярославцев, с. 54). В следующем письме, от 14 февраля 1838 г., Ершов говорит, что посланная в БдЧ «повесть обракована Сенковским, разругана Б⟨улгариным⟩ и сравнена Г⟨речем⟩ с его историей моголов» (Ярославцев, с. 56). После этого автор передал поэму на суд П. А. Плетнева (см. письмо к В. А. Треборну от 28 декабря 1839 г. — Ярославцев, с. 67), который поместил ее в «Современнике» без гонорара. В 1847 г., получив от А. Ф. Смирдина предложение издать сборник произведений, Ершов счел возможным включить в него «Сузге» вместе с «Коньком-горбунком» и пьесой «Суворов и станционный смотритель» как наиболее удавшиеся ему (см. письмо к В. А. Треборну от июля 1847 г. — Ярославцев, с. 124). М. С. Знаменский (см. о нем примеч. 79—86) предполагал издать «Сузге» отдельной книгой и написал для ее иллюстрации несколько акварелей (ЦГАЛИ, ПД). В основу сюжета «Сузге» положены сибирские народные предания, в частности упоминаемая в Ремезовской летописи (см.: «Сибирские летописи», СПб., 1907, с. 320) легенда о красавице *Сузге*, второй жене *Кучума* (ум. не ранее 1598), последнего сибирского хана, потерпевшего поражение от дружины Ермака Тимофеевича (ум. 1585). По воспоминаниям современников, Ершов, живя в Тобольске, часто совершал прогулки на места, свя-

занные с походом Ермака, в частности в *Искер*, последнюю резиденцию Кучума, и к Чувашскому мысу, где состоялось решающее сражение дружины Ермака с войсками Кучума 23 октября 1581 г. (см.: Ярославцев, с. 53; В. Г. Утков, Гражданин Тобольска. О жизни и творчестве П. П. Ершова, автора сказки «Конек-горбунок», Свердловск, 1972, с. 90). В воспоминаниях ссыльного поляка Констанция Волицкого, близко знавшего Ершова в Тобольске, описывается поездка в татарское село у подножия горы Сузгун, резиденции Сузге. Во время этой прогулки Ершов рассказывал спутникам содержание легенды, послужившей основой для его поэмы, создававшейся в те же годы (см.: Б. Бухштаб, П. П. Ершов и Н. А. Чижов в воспоминаниях Констанция Волицкого. — «Омский альманах», кн. 6, 1947, с. 163). Возможно, что первым толчком для обращения к этому сюжету послужило знакомство с Ремезовской летописью, один из списков которой имелся в распоряжении А. Е. Викторова (т. н. «Викторовский список», переданный им в библиотеку кн. Барятинского — см. «Сибирские летописи», СПб., 1907, с. XXV). См. также № 77. Отзыв о поэме см.: «Московский наблюдатель», 1839, т. 1, отд. 5, с 51. *Таль* — ивняк. *Хурия* (гурия) — в мусульманской мифологии райская дева. *Махмет-Кул* (Мамет-Кул) — по свидетельству Ремезовской летописи, царевич сибирский, сын царя Кучума (иногда называется его братом). *Кольцо, Гроза, Мещеряк, Михайлов, Пан* — казачьи атаманы, сподвижники Ермака. *Сейдяк* Бекбулатов — военачальник Кучума, внук князя сибирского Казыя. *Угодник Николай* — христианский святой. *Славу Дона поминает... И прощение царя.* По мнению некоторых историков, Ермак был донским казаком, разбойничал на Волге и начал поход на Сибирь, спасаясь от гнева Ивана Грозного. После успешного взятия сибирских городков отправил атамана Кольцо послом в Москву. *Уланы* — члены ханской фамилии из линий, не восходящих на престол, служившие в ханской охране.

35. Альманах на 1838 год, изданный В. Владиславлевым, СПб, 1838 (ц. р. — 17 декабря 1837), с. 303, без даты. Автограф — Тт 1, под загл. «Друзьям», с датой. Список — ЦГАЛИ.

36. БдЧ, т. 40, 1840, с. 7, без даты. Автограф — Тт 1, с датой. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. Навеяно воспоминаниями о постановке оперы Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол» на петербургской сцене 14 декабря 1834 г. Это была первая опера, поставленная с русскими певцами на казенной сцене По воспоминаниям современника, «капельмейстеру прежней итальянской оперы, венецианскому уроженцу Катарину Альбертовичу Кавосу поручено было поставить большие оперы с русскими певцами... Менее чем через год появилась на русской сцене совершенно выходившая из тогдашних форм новая опера Мейербера «Роберт» и вызвала небывалый еще фурор. Петербургская оперная труппа вдруг стала, как по действительному достоинству, так и по мнению публики, равною своей иноязычной сопернице» («Воспоминания Юрия Арнольда», вып. 2, М., 1892, с. 108). Ершов был на одном из первых представлений и впоследствии не раз вспоминал «образ прекрасной Изабеллы, г-жу Шелихову» (Ярославцев, с. 30). О «Роберте-Дьяволе» Ершов говорит и в письме к В. А. Тре-

борну от 3 сентября 1837 г. (см.: Ярославцев, с. 53). Пристальное внимание поэта к этой постановке объясняется его интересом к становлению русской национальной оперы. Влияние «Роберта-Дьявола» сказалось и на произведениях Ершова (см. примеч. 22—29).

37. «Утренняя заря. Альманах на 1839 год, изданный В. Владиславлевым», СПб., 1839, с. 312 (ц. р. — 15 ноября 1838). Автограф — Тт 1, с датой: 7 сентября 1838. Список — ЦГАЛИ, с той же датой. Посвящено первой жене Ершова, Серафиме Александровне, урожд. Протопоповой, в первом браке Лещевой (ум. 1845). С. А. Лещева — дочь директора Тобольской гимназии с 1805 по 1808 г. А. П. Протопопова, вдова полевого инженер-полковника Никиты Лещева, совершившего в 20-х годах путешествие в Тянь-Шань и Кашгар и составившего одно из первых описаний Иссык-Куля. *Явились горькие утраты* и т. д. Речь идет о смерти родных — отца, П. И. Ершова (ум. 1834), брата Николая (см. примеч. 21) и матери, Е. В. Ершовой, урожд. Пиленковой (ум. 1838). *Цевница* — старинный музыкальный инструмент.

38. «Утренняя заря. Альманах на 1839 год, изданный В. Владиславлевым», СПб., 1839 (ц. р. — 15 ноября 1838), с. 377. Автограф — Тт 1. Список — ЦГАЛИ. Посвящено первой жене Ершова (см. примеч. 37). В отзыве на альманах «Утренняя заря» П. А. Плетнев процитировал «Праздник сердца», назвав его «прелестным стихотворением» (С, 1839, т. 13, с. 60).

39. БдЧ, т. 39, 1840, с. 128, без даты. Автограф — Тт 1, с датой. Списки — ЦГАЛИ, с ошибочной датой: 19 сентября 1838; ЦГИА.

40—41. 1. Омск. изд. 1950, с. 194. Печ. по автографу Тт 2. Список — ЦГАЛИ. 2. БдЧ, т. 40, с. 88. Автограф — Тт 2, без загл. Списки — ЦГАЛИ, под загл. «Осьмистишия, 2»; ЦГИА. Первый и второй из девяти акростихов, посвященных первой жене Ершова (см. примеч. 37). *Прометей* — см. примеч. 11.

42. «Утренняя заря. Альманах на 1840 год, изданный В. Владиславлевым. Второй год», СПб., 1840, с. 122 (ц. р. — 14 октября 1839), без даты. Автограф — Тт 1, под загл. «Шатер природы», с датой. Список — ЦГАЛИ.

43. Омск. изд. 1937, с. 102. Печ. по автографу Тт 1. Список — ЦГАЛИ.

44. БдЧ, т. 38, 1840, с. 161. Автограф — Тт 1. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА.

45. БдЧ, т. 39, 1840, с. 16, без даты. Автограф — Тт 1, с датой. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. Приведено в письме к В. А. Треборну от 27 февраля 1839 г. (см.: Ярославцев, с. 60).

46. Ярославцев, с. 61. По свидетельству А. К. Ярославцева, этот набросок в бумагах Ершова сопровождался рисунком, на котором были изображены «вправо, на высоком берегу реки — замок с башнями; на противоположном низменном берегу — могила, на ней

крест, под елью, за нею влево — береза, начало леса. Из-за высокого берега подымается солнце. Стихотворение, поверх рисунка, озаглавлено: „Первый весенний цветок“». Судя по содержанию стих., это загл., возможно, к нему не относилось. Смысл загл. Ярославцев объясняет в своих воспоминаниях: «Это первый весенний цветок, первая песнь, первая мечта, вылетевшая из груди молодого поэта, так охваченной, казалось, любовью и вожделенною будущностью!.. Но отчего ж среди упоения готовящегося блаженства вдруг неожиданно первым цветком, первою песнию являются глубоко грустные мысли, предметы печальной думы?» (Ярославцев, с. 61, 62).

47. БдЧ, т. 40, 1840, с. 11. Печ. по автографу Тт 1, с датой. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА.

48. БдЧ, т. 44, 1841 (ц. р. — 31 декабря 1840), с. 10, без даты. Автограф — ЦГАЛИ, под загл «Зимняя фантазия», с вариантами и датой. Список — ЦГИА.

49. БдЧ, т. 44, 1841 (ц. р. — 31 декабря 1840), с. 5. Автографы — Тт 2. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА.

50. Омск. изд. 1950, с. 204. Печ. по автографу Тт 2. Список — ЦГАЛИ Посвящено первой жене Ершова (см. примеч. 37). Автор, по-видимому, высоко ценил это стих., он выбрал его среди нескольких других для чтения университетскому товарищу своего брата С. И. Барановскому во время их встречи в Тобольске в 1866 г. (см.: Ярославцев, с. 194). *Каданс* — ритмическая последовательность звуков, музыкальный ритм.

51. Омск. изд. 1937, с. 106, без раскрытия фамилии адресата стихотворения. Печ. по автографу Тт 2. Список — ЦГАЛИ. *Жилина* Софья Петровна — тобольская знакомая Ершова (см. также примеч. 61).

52—57. 1—5. Омск. изд. 1950, с. 198. Печ. по автографу Тт 2. 6. Печ. впервые по автографу Тт 2. В цикл входят десять стих., из них в наст. изд. печатаются 1—5 и 8. В основу цикла легли впечатления от поездок в Ивановское, одно из живописных мест вблизи Тобольска. Прочитано автором на литературном вечере у ссыльного декабриста М. А. Фонвизина, где один из слушателей отметил заимствование первой строки из стих. Пушкина «Город пышный, город бедный...» (1829) (см : М. С. Знаменский, Тобольск в сороковых годах. — «Наш край», Тобольск, 1925, № 6, с. 4). В сентябре 1841 г. Ершов послал цикл П. А. Плетневу через В. А. Треборна для публикации в С «без всяких условий», но Треборн и А. К. Ярославцев, недовольные произведением, «хотя и написанным звучными стихами», не передали его по назначению (Ярославцев, с. 83—85). *Протей* (греч. миф.) — божество, способное принимать любой облик; символ изменчивости. *Эдем* (библ.) — земной рай, где жили прародители человечества Адам и Ева. *Бить* — тонкая сплющенная проволока для вышивания и золотошвейных работ.

58—60. 1. Печ. впервые по автографу Тт 3. Список — ЦГАЛИ. 2. Омск. изд. 1950, с. 214, под загл. «Отрывок». Печ. по автографу

Тт 3. Список — ЦГАЛИ. 3. Б. п. 1936, с. 141. Печ. по автографу Тт 3. Список — ЦГАЛИ. Из восьми стих. цикла в наст. изд. публикуются 1, 2 и 4. В цикле отразились впечатления от поездок в Ивановское (см. примеч. 52—57).

61. Печ. впервые по списку Н. Д. Фонвизиной (жены декабриста) в письме ее к И. И. Пущину от 9 июля 1841 г. (ГБЛ). *Жилины Анна Петровна* и *Софья Петровна* — дочери тобольского чиновника П. Д. Жилина, члены кружка ссыльных декабристов, в июне 1841 г. выехали в Москву. 29 июня 1841 г. И. И. Пущин писал Н. Д. Фонвизиной: «Пушкин ⟨декабрист П. С. Бобрищев-Пушкин. — *Ред.*⟩ обещает, что вы «в свое время» пришлете мне стихи Ершова на отъезд наших барышень». В ответном письме Н. Д. Фонвизина сообщала: «От барышень с дороги имела уже два письма, в одном из них стихи Ершова на отъезд, которые Анна Петровна прислала мне списанными карандашом с тем, чтобы я переписала и сообщила вам... Скажите мне ваше мнение о стихах... Эти пришлись так кстати и в самую торжественную минуту, что на всех тогда сделали сильное впечатление» (ГБЛ). Еще до получения стих. Пущин послал Фонвизиной гротескное описание выезда из Ялуторовска тобольского гражданского губернатора М. В. Ладыженского: «...Губернатор бесится, бранит мужиков, и выходит, что эти молчаливые существа и обижены, и обруганы, а иногда и прибиты. До сих пор это единственное улучшение в их положении от поездки начальника губернии... Эта мысль пришла мне в голову, когда, после свидания с Ладыженским, через час увидел из окна, как его со свитой мчали мимо нас. Крик ямщиков, колокольцы и пр. и пр. Во мне даже появился невольный страх. Его фигура при лунном свете имела верный отпечаток апатического самовластья, совершающего безотчетно свое дело в степи. Если бы я был Ершов, я бы тут же написал стихи...» (ГБЛ).

62. Ярославцев, с. 102, в письме к В. А. Треборну от 13 ноября 1843, без загл. Печ. по автографу Тт 2. Списки — ЦГИА, под загл. «Из сборника стихотворений „Грусть“», ЦГАЛИ.

63. Ярославцев, с. 33. Печ. по автографу Тт 2. Список — ЦГАЛИ. Датировано В. Г. Утковым (см Омск. изд. 1950, с. 287). По свидетельству Ярославцева, написано Ершовым «в лета уже зрелые» (Ярославцев, с. 33).

64. Ярославцев, с. 90. Список — ЦГИА, под загл. «Иван-царевич. Поэма. Отрывок». По свидетельству Ярославцева, Ершов впервые задумал поэму «Иван-царевич» по мотивам русских сказок еще в 30-х годах в Петербурге и вернулся к этому замыслу в 40-х годах. Часть сказки, в которую входил и публикуемый отрывок, была написана, по всей вероятности, в 1845 г., но впоследствии полностью уничтожена автором (см.: Ярославцев, с. 21, 58, 90, 110). *Ширинка* — см. примеч. 1.

65. С, т. 44, 1846, с. 228, без даты и без подписи. Автограф — Тт 2, с датой. Список — ЦГАЛИ. *Всё, что любил, я схоронил Во*

мраке двух родных могил. Речь идет о смерти брата и матери Ершова (см. примеч. 21, 37). В письме к А. К. Ярославцеву и В. А. Треборну от 26 января 1846 г. Ершов прислал несколько своих стих. для напечатания в БдЧ или — в случае неуспеха — в С, с условием не называть имени автора (Ярославцев, с. 115). Не получив поддержки друзей, он 21 апреля послал стихи П. А. Плетневу с сопроводительным письмом, в котором писал: «Если из посланных стихотворений какие-нибудь удостоятся чести быть помещенными в ваш журнал, то прошу напечатать их без имени» (ПД). В ответ Плетнев сообщил о согласии опубликовать присланные стихи, но «украшать ими журнал понемногу» (Ярославцев, с. 118).

66. С, т. 43, 1846, с. 355, без даты и без подписи. Автограф — Тт 2, с датой. Список — ЦГАЛИ. См. примеч. 65. Посвящено второй жене поэта Олимпиаде Васильевне, урожд. Кузьминой (ум. 1852). *Героподобная жена* — подобная богине Гере (греч. миф.), супруге Зевса.

67. С, т. 43, 1846, с. 352 без даты и без подписи. Автограф — Тт 2 с датой; факсимиле более раннего автографа — Ярославцев, с. 201. Списки — ЦГАЛИ, ЦГИА. См. примеч. 65. Ярославцев ошибочно относит это стих. к 1868 г. (см.: Ярославцев, с. 126).

68. С, т. 44, 1846, с. 233, без даты. Автограф — Тт 2. Список — ЦГАЛИ. Посвящено второй жене Ершова (см. примеч. 66).

69. Омск. изд. 1950, с. 206. Печ. по автографу Тт 2. Список — ЦГАЛИ. Посвящено второй жене Ершова (см. примеч. 66).

70. Печ. впервые по автографу Тобольского музея. На тексте помета автора: «Е⟨е⟩ пр⟨евосходительству⟩ А. В. Э. от любителя музыки». Список — ЦГАЛИ, с примеч.: «Поднесено по окончании концерта в пользу бедных».

71. Сибирские огни», 1940, № 4—5, с. 238 (отрывок); «Сибирские огни», 1946, № 4, с. 110. Печ. по автографу Тт 3. *Андронников* В. А. — тобольский знакомый Ершова. Дом Андронниковых был одним из мест встреч кружка тобольской интеллигенции и ссыльных декабристов.

72. Омск. изд. 1950, с. 215. Печ. по списку ЦГАЛИ. Другие списки — ЦГАЛИ, ЦГИА.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

73—74. Ярославцев, с. 86, в письмах к В. А. Треборну и А. К. Ярославцеву от 1 января 1842 г. Список — ЦГИА.

75. «Весельчак», 1858, № 6, 12 марта, с. 41. Автограф — Тт 3. По предположению И. Г. Ямпольского, поэма относится к ранним произведениям Ершова и примыкает «ко всякого рода анекдотам о носе и злоключениях «носачей», бытовавшим в литературе 1830-х годов» (И. Г. Ямпольский, Сатирические и юмористические журналы 1860-х годов», Л., 1973, с. 9).

76. Печ. впервые по автографу ГБЛ. *Викторов* Алексей Егорович (1827—1883) — археограф, библиограф, хранитель Отделения рукописей и старопечатных книг Московского Румянцевского музея. *Нестор* (кон. XI — нач. XII в.) — древнерусский писатель, монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор первого русского летописного свода «Повести временных лет» и нескольких житийных сочинений. *Стоглав* — свод постановлений церковного собора 1551 г., содержит сведения об общественной жизни, политической борьбе и быте Русского государства в XVI в. *Салаев, Глазунов* — совладельцы издательских фирм в XIX в., выпускавших главным образом учебники и сочинения классиков русской литературы. *Буслаев* Ф. И. (1818—1897) — русский филолог и искусствовед, академик, автор трудов в области славянорусского языкознания, фольклористики и истории искусства. *Милюков* А. П. (1817—1897) — писатель, критик, историк русской литературы.

77. Омск. изд. 1950, с. 213. Печ. по списку ЦГАЛИ, с пометой: «У Лидии Николаевны Знаменской». Другой список — ЦГИА.

78—85. 1—2, 4—7. Печ. впервые по автографу Тт 3. 3, 8 — «Омский альманах», кн. 5, 1945, с. 129, в статье Б. Бухштаба «Козьма Прутков, П. П. Ершов и Н. А. Чижов». В цикл входят 12 эпиграмм, из которых в наст. изд. печ. 1—5, 7 и 8. В рукописи эпиграммам предпослано следующее «Содержание»: «№ 1, где очень удовлетворительно объясняется успех Дон Жуана у девиц; № 2, где полагается мудрая метода Дон Жуана в зодчестве и любви; № 3 — показывается тонкий переход действий Дон Жуана в архитектуре и волокитстве; № 4 — раскрывается настоящая причина непостоянства Дон Жуана; № 5 — представляется печальное следствие идти вопреки своему назначению; № 6 — объясняется, почему Дон Жуан не жалует голубого цвета; № 7 — раскрываются пред светом разнообразные таланты Дон Жуана и острота 3-го класса, понятная только для посвященных; № 8 — выставляется на вид резкая противоположность Донжуановых действий; № 9 — исчисляется ряд причин любви Дон Жуана к белому цвету с окончательным решением; № 10 — подает утешение прекрасному полу касательно намерений Дон Жуана жениться; № 11 — предлагает Дон Жуану предпочесть для своего концерта духовой инструмент струнному; № 12 — объясняет заблуждения всему и настоящие причины временного удаления Дон Жуана от света». Тобольский городской архитектор Степанов, по воспоминаниям М. С. Знаменского, играл заметную роль в общественной жизни города. В начале 40-х годов он вместе с Ершовым принимал деятельное участие в устройстве любительских спектаклей (см.: М. С. Знаменский, Тобольск в сороковых годах. — «Наш край», Тобольск, 1925, № 8—9, с. 5, 6). Цикл был известен В. М. Жемчужникову, которого Ершов «знакомил с прежними своими шутками» (см. примеч. 108), и послужил источником для эпиграммы Козьмы Пруткова:

Раз архитектор с птичницей спознался.
И что ж? — в их детище смешались две натуры:
Сын архитектора, он строить покушался;
Потомок птичницы — он строил только — куры.

Эпиграф — из «Евгения Онегина» (гл. 4, XVIII). *Строить cour'ы* (от франц. faire la cour) — ухаживать. *Протей* — см. примеч. 52—57. *Протектор* — покровитель. *Соломон* (библ.) — иудейский царь, одаренный мудростью и проницательностью.

86—107. Эпиграммы Ершова никогда не публиковались при жизни автора. Большинство из них относится к 60-м годам и отражает круг интересов и характер общественно-политических взглядов поэта в последние годы жизни. Насмешки над местной администрацией («Деспот-Зеновичу», «Превосходительство и превосходство ..», «Чему завидовать, что некий господин...», «Палестину нашу...», «Его со спичами в устах...»), официальной печатью («По прочтении одной газетной статьи»), купечеством («Купцу Плеханову», «Мои приятели Федулы...»), над ханжеством филантропов («К одной филантропке»), даже над некоторыми правительственными установлениями («Старые и новые порядки», «Поклонникам латыни», «Эврика, эврика!..») сочетаются здесь с неодобрительным отношением к мировоззрению передовой разночинно-демократической интеллигенции («Нигилисту-естественнику», «Некоему прогрессисту», «Проект нового устава»).

1. Омск. изд. 1950, с. 212. Печ. по списку ЦГАЛИ. *Знаменский* Михаил Степанович (1833—1892) — тобольский общественный деятель, краевед, художник, сотрудник журнала «Искра». Давал уроки рисования детям Ершова, иллюстрировал поэму «Сузге» (см. примеч. 34). В детстве Знаменский воспитывался в доме декабриста М. А. Фонвизина. В своих дневниках и воспоминаниях он приводит ряд сведений о жизни Ершова в Тобольске, в частности о его общении с кружком ссыльных декабристов (см.: «Наш край», Тобольск, 1925, №№ 2—9; «Сибирские огни», 1940, № 4—5, с. 238; ПД, ЦГАЛИ). В марте 1863 г. Знаменский записал в дневнике отзыв Ершова о его карикатурах: «Ершов... говорил, что я больше литератор, чем карикатурист, что рисунок у меня только солон, а самая соль заключается в подписи («Сибирские огни», 1940, № 4—5, с. 239). В наст. изд. воспроизводятся: одна из карикатур Знаменского на Ершова, со следующей подписью: «Вы что-то писать хотели, не новым ли произведением хотите подарить публику?» — «Я уж подарил...» — «А в каком роде?» — «Акушерка говорит, что в мужском...» (Тобольский музей); карандашный портрет Ершова с автографом писателя.

Не дивитеся, друзья,
Что так толст и весел я:
Это — плод моей борьбы
С лапой давящей судьбы;
На гнетущий жизни крест
Это — честный мой протест.

24 января 1862 *П. Е.*

20 августа 1869 г. Знаменский писал своей сестре: «Вчера были торжественные похороны автора «Конька-горбунка». Такого стечения народа мне не случалось видеть в Тобольске никогда. Дети из всех учебных заведений, кроме семинарии и д(уховного) у(чилища), провожали гроб... При разборе бумаг нашли книжечку с его последними стихотворениями. Есть премиленькие. Теперь они у меня

Некоторые стоит напечатать. Я теперь рисую портрет Ершова. Фотограф изъявил желание купить его, чтобы сделать спекуляцию. Если не сойдемся с ним в цене, то пошлю или в Петербург в «Иллюстрацию», или к вам в фотографию» (ЦГАЛИ).

2. Омск. изд. 1950, с. 212. Печ. по списку ЦГАЛИ. *Деспот-Зенович* Александр Иванович (1828—1895) — тобольский губернатор в 1862—1867 гг. Герцен в «Колоколе» привел как пример «скотства», тупости и произвола российской администрации циркуляр Деспот-Зеновича о запрещении ссыльным заниматься преподавательской деятельностью (см.: А. И. Герцен, Полн. собр. соч., т. 19, М., 1960, с. 209).

3. Печ. впервые по списку ЦГАЛИ. Идентичный список — ЦГИА. *Приказ* — орган центрального управления и судопроизводства в допетровскую эпоху. *Мировой* — особый вид суда с упрощенным судопроизводством, учрежденный уставом 1864 г.

4. Омск. изд. 1950, с. 211. Печ. по списку ЦГАЛИ. Мнение о том, что латинский язык «без причины поставлен краеугольным камнем образования» и «виной этому только схоластика подражательная», выражено Ершовым в «Мыслях о гимназическом курсе» (см.: С. Н. Замахаев и Г. А. Цветаев, Историческая записка о Тобольской гимназии. 1789—1889, Тобольск, 1889). Гимназическим уставом 1864 г. предусматривалось увеличение числа уроков по древним языкам в классических гимназиях. Этой теме посвящена также эпиграмма 5.

5. Омск. изд. 1950, с. 211. Печ. по списку ЦГАЛИ. Другой список — ЦГАЛИ, без загл. Оригинал хранился у Н. В. Ершовой, внучки поэта. См. примеч. к эпиграмме 4. *Эврика*! (греч.) — Нашел!

6. Ярославцев, с. 37. Печ. по списку ЦГИА. Другой список — ЦГАЛИ, под загл. «Проект нового закона».

7. Омск. изд. 1950, с. 212. Печ. по списку ЦГАЛИ.

8. Омск. изд. 1950, с. 212. Печ. по списку ЦГАЛИ. Другой список — там же. Эпиграмма обращена к представителю одной из известнейших в Тобольске купеческих фамилий.

9. Омск. изд. 1950, с. 213. Печ. по списку ЦГАЛИ Лицемерная благотворительность тобольской знати сочеталась с усилиями администрации очистить город от огромного количества бедняков. «Толпы, буквально толпы нищих всякого пола и возраста бродили по улицам города», — сообщали «Тобольские губернские ведомости» в 1863 г. (цит. по Б. п. 1961, с. 206).

10. Омск. изд. 1950, с. 213. Печ. по списку ЦГАЛИ. *Превосходительство* — титулование некоторых высших чинов в дореволюционной России.

11. Омск. изд. 1950, с. 213. Печ. по списку ЦГАЛИ. *Превосходительный... чин* — относящийся к лицу, имеющему титул превосходительства (см. выше).

12. Ярославцев, с. 38. Печ. по списку ЦГИА.

13. Ярославцев, с. 148. Печ. по списку ЦГАЛИ. Идентичный список — ЦГИА. По свидетельству внучки писателя Н. В. Ершовой, эпиграмма служила подписью под карикатурой «на приезд некоего через меру усердного ревизора в Тобольскую гимназию» (ЛНС, с. 286). Судя по описанию, автором карикатуры был М. С. Знаменский (см. о нем примеч. к эпигр. 1): «Карикатуру я хорошо помню, она очень забавна: коляска, в оглобли впряжен сам директор — мой

дед, на пристяжках — учителя, на козлах — ретивый ревизор. П⟨етр⟩ П⟨авлович⟩ очень забавен на этой карикатуре и, по словам отца, очень похож» (там же). *Палестина* — родные места, отчий дом.

14. Печ. впервые по списку ЦГАЛИ. Другой список — ЦГИА, с вариантом ст. 1: «Такой народ здесь хлебосольный. . .».

15. Печ. впервые по списку ЦГАЛИ. Идентичный список — ЦГИА.

16. Печ. впервые по списку ЦГАЛИ. Идентичный список — ЦГИА. *Дресва* — мелкий щебень или крупный песок.

17. Печ. впервые по списку ЦГИА.

18. Печ. впервые по списку ЦГИА. Другой список — ЦГАЛИ, с разночтениями.

19. Печ. впервые по списку ЦГАЛИ. Идентичный список — ЦГИА.

20. Печ. впервые по списку ЦГИА. По свидетельству пасынка Ершова, Н. Н. Лещева, эпиграмма посвящена тобольскому врачу А. Черемшанскому (см.: ЦГИА).

21. Печ. впервые по списку ЦГАЛИ. Идентичный список — ЦГИА. Первая строка — цитата из оды Державина «Вельможа».

22. Печ. впервые по списку ЦГАЛИ. Идентичный список — ЦГИА.

Коллективное

108. С, 1860, № 5, с. 41, в составе комедии Козьмы Пруткова «Черепослов, сиречь Френолог. Оперетта в трех картинах». Первоначально куплеты должны были входить в одноименный водевиль, предназначавшийся для тобольского гимназического театра в 1837 г. Б. Я. Бухштаб установил, что автором этого не дошедшего до нас водевиля был друг Ершова, ссыльный декабрист Н. А. Чижов (см.: Б. Я. Бухштаб, Козьма Прутков, П. П. Ершов и Н. А. Чижов. — «Омский альманах», кн. 5, 1945, с. 110; кн. 6, 1947, с. 159; «Декабрист — участник «Козьмы Пруткова». — Б. Я. Бухштаб, Библиографические разыскания по русской литературе XIX века, М., 1966, с. 18). Ершов писал своему университетскому товарищу В. А. Треборну 5 марта 1837 г.. «Еще приятель мой Ч⟨и⟩жов готовит тогда же водевильчик «Черепослов», где Галю пречудесная шишка будет поставлена. А куплетцы в нем — что ну да на, и в Питере послушать захочется» (Ярославцев, с. 49). В тот же день в письме к Гребенке он сообщает и о своем участии в создании пьесы: «Мы с Чижовым стряпаем водевиль «Черепослов», в котором Галь получит шишку пречудесную. Куплетцы — заяденье. Вот ужо пришлю их к тебе после первого представления» (В. Доманицький, Матеріяли до биографии Е. П. Гребенки. — «Записки наукового товариства ім. Шевченка», т. ХС, 1909, кн. 4, с. 167). Участие Ершова заключалось, по-видимому, лишь в создании нескольких куплетов, которые были переданы впоследствии авторам Козьмы Пруткова и помещены ими во вторую картину своей оперетты (см.: Козьма Прутков, Полн. собр. соч., «Б-ка поэта» (Б. с.), с. 340). «П. П. Ершов лично передал эти куплеты В. М. Жемчужникову в Тобольске в 1854 г., заявив желание: „Пусть им воспользуется Козьма Прутков, потому что сам я

уже ничего не пишу“» (там же). В. М. Жемчужников подтвердил это в письме к А. Н. Пыпину от 6 (18) февраля 1883 г.: «В Тобольске я познакомился с Ершовым (творцом «Конька-горбунка»). Мы довольно сошлись. Он очень полюбил Пруткова, знакомил меня также с прежними своими шутками и передал мне свою стихотворную сцену «Черепослов, сиречь Френолог», прося поместить ее куда-либо, потому что «сознает себя отяжелевшим и устаревшим». Я обещал воспользоваться ею для Пруткова и впоследствии... вставил его сцену с небольшими дополнениями во 2-е действие оперетты «Черепослов», написанной мною с братом Алексеем и напечатанной в «Современнике» 1860 г.» (там же, с. 396). Куплеты направлены против увлечения френологией (в буквальном переводе на русский язык — «черепословие»), основанным Ф. И. Галлем (1758—1828) антинаучным учением о распознавании психических свойств человека по форме черепа. *Фис, дис* — музыкальные термины, обозначающие различные ступени гамм. *Ставчик* — поставец, посудный шкаф; подставка для посуды.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* П. П. Ершов. Акварель. 1830-е годы (фотокопия — Тобольский музей).

2. *С. 125.* Автограф стих. «Монолог Святополка Окаянного». Начало 1830-х годов (ПД).

3. *Между с. 176* и *177.* П. П. Ершов. Миниатюра Теребенева. 1830-е годы (ПД).

4. *На обороте.* П. П. Ершов. Литография А. Мюистера. 1872 (ПД).

5. *Между с. 208* и *209.* П. П. Ершов. Рисунок М. С. Знаменского. 24 января 1862 (ПД).

6. *На обороте.* П. П. Ершов. Карикатура М. С. Знаменского. 1864 (?) (Тобольский музей).

7. *С. 249.* Автограф стих. «30-е августа 1849» (Тобольский музей).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

[1] Звездочкой обозначены произведения, публикуемые впервые.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Коллективное

Ершов Петр Павлович

КОНЕК-ГОРБУНОК

СТИХОТВОРЕНИЯ

Л О. изд-ва «Советский писатель», 1976, 336 стр. План выпуска 1976 г. № 367

Редактор *Л. С. Гейро*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

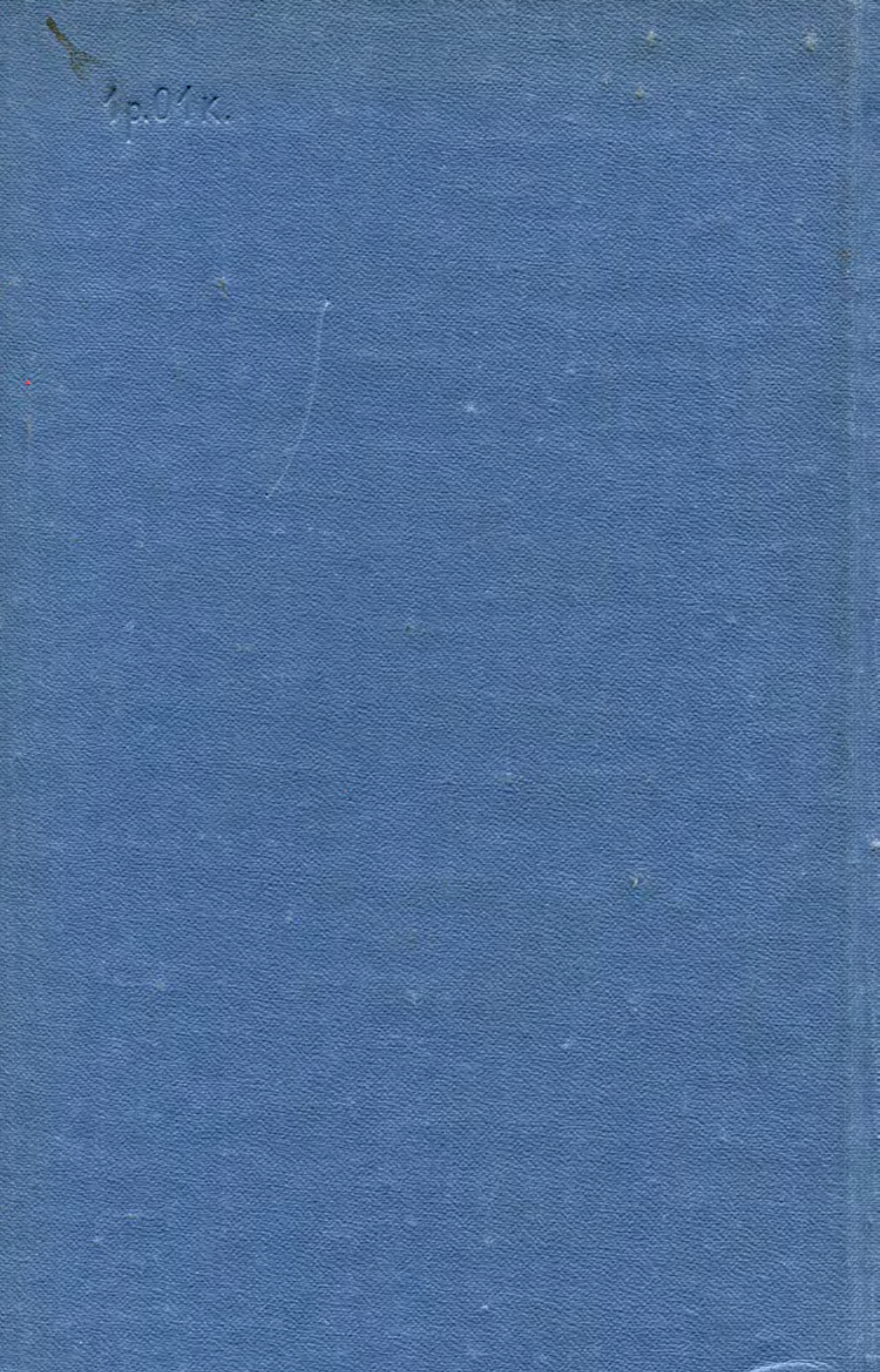
Сдано в набор 10/IX 1975 г. Подписано в печать 22/I 1976 г. М 19017. Бумага 84×108 1/32, типогр. № 1. Печ. л. 10 1/2+3 вкл. (17,95). Уч.-изд. л. 17,95. Тираж 40 000 экз. Заказ № 1066 Цена 1 р. 01 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр	Строка	Напечатано	Следует читать
30	1 св	Замки ли	Замки ль
37	3—4 сн	романтической поэзии	романтической поэмы
52	13 св	мира его	мира сего
250	1 св.	в глубине	в глубины
300	19—20 св.	Р. К. Жуковским	Р. А. Жуковским


1р.04к.